

Toto číslo časopisu Rossica Olomucensia je věnováno pracem studentů doktorských studijních programů Ruský jazyk, Ruská literatura a Srovnávací slovanská jazykověda na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence, Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: Zlepšení publikačních možností akademických pedagogů ve filologických a humanitních oborech FF UP.

Adresa, na níž je možno časopis objednat:

Prodejna VUP
Biskupské náměstí 1
771 11 Olomouc
e-mail: prodejna.vup@upol.cz
e-shop: <http://www.e-vup.upol.cz/>

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LI
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2012

STUDIE – ARTICLES – СТАТЬИ

ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВА: Уголовно-правовые терминосистемы в чешском и русском языке ..	103
МОНИКА VOKURKOVÁ: Odras moderní ruštiny v jazyce současné ruské detektivky	115
ИВАНА ГАНУЛИКОВА: Зооморфный компонент в языке политиков	123
МАРИА-СТЕФАНИЕ КНАРИТСХ: Problematika morfosyntaktické analýzy základních číslovek v ruštině a češtině	129
Наталия Кубова: Проблематика порядка слов в русском и чешском языках и его влияние на перевод	139
RADANA MERZOVÁ: Korespondence českých a ukrajinských (ruských) učenců – významný komunikační prostředek kulturního styku	151
МАРГАРИТА МЛЧОХОВА: В. Маяковский в литературно-критическом восприятии отече- ственных и зарубежных исследователей	163
MARTINA PÁLUŠOVÁ: Divadelní hra „Slepice“ Nikolaje Koljady v překladu Gabriely Palyové	171
ВОЛТЭХ РІСНА: Kozáctví uchopené ideologiemi	183

RECENZE – REVIEWS – РЕЦЕНЗИИ

АЛЛА АРХАНГЕЛЬСКАЯ: Томаш Шутковски: Паремийные единицы с ономастическим ком- понентом в современном русском и польском языках	191
STANISLAVA VOJTÍŠKOVÁ: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Reklama – Jak dělat reklamu	195
Pokyny pro autory	199

ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВА

Чехия, Оломоуц

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В ЧЕШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ABSTRACT:

This article deals with structural analysis of Russian and Czech legal terminology (criminal legal terminology in particular). We analyze terms excerpted from Russian Criminal law and Czech Criminal law. This analysis helped us classify terms and make a certain structure, which allows us to study the differences between two languages in this very important sphere of knowledge and social life. We assume language not only as a reflection of social side of certain facts but also as an instrument of forming people's legal consciousness.

KEY WORDS:

Criminal law – terminology – criminal-law terminology – law-making techniques – loan-words – one-component term – polylexemic term – word-formation – word-formation type.

Сфера терминологии – одна из наиболее популярных и важных тем современных лингвистических исследований. И в отечественной, и в зарубежной лингвистике существует множество работ, посвящённых как теории термина, так и исследованиям частноотраслевых систем, их развитию, системным, лингвистическим и экстралингвистическим характеристикам, функционированию отдельных терминологических единиц.

Научная терминология является основой для построения высказываний во всех областях науки и техники. Учитывая то, что право является одной из научных областей, а уголовное право – одной из отраслей этой научной области, то мы будем говорить о юридической терминологии, выделяя в её составе терминологию уголовно-правовую.

Право относится к нормативным системам общества, которая выполняет функцию социального контроля и регулирования поведения членов этого общества. Право как система правил и правовая терминология очень тесно связаны между собой, т.к. правовая терминология является важной составной частью правовой техники – процесса создания правовых текстов, их интерпре-

тации и применения права. И, таким образом, можно сказать, что правовая терминология оказывает влияние и на функционирование правовой системы.

Целью данной статьи является описание русской и чешской терминологии уголовного права с точки зрения её состава, структуры терминов, а также – их происхождения. Исследуя родственные языки, а также правовые системы, принадлежащие к одной правовой семье, мы предполагаем значительное сходство терминосистем, однако хотели бы обратить внимание и на различия, которые могут свидетельствовать о различном подходе законодателей к тексту закона как инструменту формирования правопонимания и правосознания граждан.

Данная работа не ставит перед собой целью исследовать семантику терминов, а, скорее, является этапом, который позволит сделать дальнейшее изучение семантики уголовно-правовой терминологии более обоснованным и теоретически подкрепит его.

Отбор материала для исследования.

В качестве источника выборки терминов для нашего исследования мы выбрали Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) и *Trestní zákoník České republiky* (далее – TrZ ČR), т.к. полагаем, что тексты главных уголовных законов являются наиболее полными и репрезентативными источниками терминов уголовного права, хотя и не включают в себя, разумеется, всю уголовно-правовую терминологию, существующую в языке. Чаще всего именно в законе терминология получает первоначальную «легализацию», поэтому мы остановили свой выбор на текстах основных уголовных законов каждого из государств в качестве источника анализируемых терминологических единиц. Оба уголовных закона недавно обновлялись. Последняя редакция Уголовного Кодекса Российской Федерации датирована июлем 2011 года, в Чехии же был принят полностью новый закон в январе 2010 года.

Безусловно, юридическая терминология содержится и используется, кроме УК РФ и TrZ ČR, и во многих других нормативных актах, а также – в юридической доктрине уголовного права и в научной литературе. Однако в данной работе мы хотели бы сосредоточиться именно на материале, который предоставляют нам главные уголовные законы обеих стран, как на приоритетном для изучения примере.

Из русскоязычного материала для лингвистического анализа первоначально было отобрано более 600 слов и словосочетаний с терминологическим значением, но для непосредственной разработки в рамках этого исследования круг терминов был сознательно сужен. При этом из нашего исследования мы намеренно исключили межотраслевую и общеправовую терминологию, что позволило нам больше внимания уделить нашему исследованию.

Для отбора чешских терминов мы руководствовались теми же критериями, что и при отборе русскоязычного материала, т.е. стремились к тому, чтобы в список анализируемых единиц вошла прежде всего уголовно-правовая терминология. Другими словами, мы намеренно не включали в анализируемый материал термины общеправовые, а также термины, относящиеся к другим отраслям права непосредственно, хоть они и встречались в тексте уголов-

ного закона. Мы также уделяли внимание наличию дефиниции и термина в тексте закона непосредственно или в специализированных словарях соответствующего языка.

После выборки по выше описанным критериям наш материал составил 500 русских терминов и терминологических сочетаний (из которых 150 терминов представляют собой однословные лексемы, а ещё примерно 350 – терминологические словосочетания, состоящие из двух, трех или более слов) и 433 чешских термина и терминологических сочетаний (из них 75 единиц представляют собой однословные терминологические единицы, а 358 – термины-словосочетания, состоящие из двух, трёх и более лексических единиц).

Мы исследовали наш материал последовательно: сначала изучали терминологию российского уголовного права с точки зрения структуры и происхождения, затем – аналогичным образом разбирали чешский материал, чтобы в результате иметь основания для сопоставительного анализа организации уголовно-правовых терминосистем в чешском и русском языках.

Русские и чешские однословные уголовно-правовые термины с точки зрения их происхождения.

Однословные термины («термины-универбы» в терминологии С. П. Хижняка) составили меньшинство: как в русском, так и в чешском лексическом материале. Однако можно сказать, что они представляют собой основу уголовно-правовой терминологии. Говоря так, мы имеем в виду то, что в сравнении с терминологическими сочетаниями, состоящими из двух и более слов, однословные термины, встретившиеся нам как в УК РФ, так и в TrZ ČR, представляют собой основу понятийного аппарата уголовного права [Хижняк 1997: 24].

Это такие русские термины, как, например: *амнистия, арест, аффект, бандитизм, вымогательство, вина, геноцид, диверсия, дискриминация, иммунитет, контрабанда, клевета, истязание, кража, надзор, недекларирование, пиратство, плагиат, преступление, помилование, подстрекатель, самоубийство, судимость, угроза, халатность, экоцид* и др.

Чешские: *diskriminace, nedbalost, nepřičetnost, pachatel, podvod, prostituce, přečin, přičetnost, rvačka, sabotáž, účastník, újma, usmrcení, zběhnutí, zločin, zpronevěra* и др.

Исконные термины

Большинство однословных терминов как в русском, так и в чешском языке, представляет собой исконные по происхождению лексемы. Исконных по происхождению русских однословных терминов обнаружено 101, в то время как заимствованных – только 49. На чешском материале это соотношение выглядит ещё более показательным и контрастным: исконных по происхождению чешских однословных терминов обнаружено 68, в то время как заимствованных – только 7. То есть в русском материале исконные термины составляют примерно 67%, в то время как в чешском – около 90%.

Примерами русских исконных однословных терминов могут служить такие единицы, как: *взятка, вина, законность, заложник, наемник, неправомер-*

ный, неосторожность, побег, побои, погром, подлог, посягательство, преступление, противоправность, уговор, угон, халатность, хищение и др.

Из чешских примеров приведем, например, следующие: *dohled, donucení, krádež, kuplířství, loupež, lichva, obydlí, opilství, podplacení, pomluva, přičetnost, škoda, trest, úmysl, útisk, věřitel, vlastizrada, vražda, vydírání, vyzvědačství, zabití, zatčení, znásilnění* и др.

Практически все понятия, называемые этими терминами, представляют собой основу права как такового, поэтому неудивительно, что лексика для их отражения сформировалась в языке довольно давно – ещё в тот период, когда иноязычные влияния на сферу права не были столь значительными.

Заемствованные термины: языки-источники, способы адаптации.

По мнению С. П. Хижняка, иноязычное терминологическое влияние приобретает наибольшую значимость с появлением и развитием права как науки, то есть – правоведения. Поэтому для более раннего периода – периода зарождения права как области человеческой деятельности и мышления – более свойственно образование исконных терминов, а точнее – терминологизация лексем общелитературного языка [Хижняк 1997: 79–114].

Влияние иноязычных правовых систем на российское право в период его становления было не очень сильным. Ни монголо-татарское иго, ни даже византийское законодательство не имело столь сильного влияния, чтобы вытеснить складывающуюся на русской почве самобытную терминологию. Эпоха феодальной раздробленности (XII век), а также период создания централизованного государства вокруг Москвы (до конца XV века), характеризующиеся известной разобщенностью русских княжеств, не создавали благоприятных условий для проникновения и усвоения иноязычных терминов.

Чешский материал, по нашему мнению, полностью подтверждает справедливость исторической мотивации и для чешской почвы. А именно – доминирование исконных лексем в чешской уголовно-правовой терминологии (в тексте закона, прежде всего) говорит о том, что уголовное право у большинства народов (и у западных славян – в частности) зарождалось одним из первых, а его основы (представления о наказуемости определённых деяний) с течением истории кардинально не менялись. Поэтому превалирование исконной лексики над заимствованной и сохранение старой славянской терминологии является объяснимым феноменом. Однако интересным представляется и тот факт, что чешский язык уголовного права претерпел менее сильное влияние иноязычных терминосистем (а значит, и правовых систем), нежели русский.

Мы также считаем, что другой возможной причиной, по которой законодатель намеренно отдаёт предпочтение исконной, не заимствованной, славянской терминологии в тексте закона, является следование одному из «принципов» или «требований», традиционно предъявляемых юридической техникой к термину – термин должен быть общеупотребительным, не должен изобретаться законодателем с целью называния того или иного юридического понятия или явления.

Если говорить о процессе заимствования терминов, то в русской терминологии он стал относительно заметным лишь в XVII веке, когда «входит в моду» латинский язык. В этот период латинская юридическая терминология начинает влиять на исконную терминологическую лексику. Большое значение имеет также появление в 1624 году словаря «Лексикон латинский».

Расширение контактов с носителями западноевропейских, а также западнославянских языков также оказало определённое влияние на правовую терминологию в этот период. Многие термины были заимствованы в русский язык через посредство, например, польского языка. Влияние определенных исторических условий привело к тому, что создалась такая языковая ситуация, которая не могла не затронуть деловых и правовых документов [Хижняк 1997: 80–81].

Немногочисленные иноязычные по происхождению русские термины-универбы представлены в нашем исследовании заимствованиями из следующих языков:

– из **латинского** (около половины всех заимствованных терминов): *аборт, арест, аффект, дезертирство, диверсия, дискриминация, иммунитет, кредит, лицензия, нотариус, плагиат, проституция, референдум, рецидив, санкция, симуляция, терроризм, фальсификация* и др.;

– из **греческого** (лишь отдельные термины): *амнистия, пиратство, эпидемия* и некоторые другие.

Примечательны два примера, которые представляют собой лексемы, словообразовательные форманты которых были заимствованы из разных языков.

– обычно это **греческий и латынь**: *геноцид* (от греч. γένος — род, племя и лат. *caedo* — убиваю) и *экоцид* (от греч. οίκος — дом и лат. *caedo* — убиваю).

Встречаются также отдельные примеры заимствования из других западноевропейских языков.

– из **английского**: *контрафактный, митинг, хулиганство* и др.;

– из **итальянского**: *контрабанда*;

– из **немецкого**: *бандитизм, рынок, штраф* и нек. др.;

– из **французского**: *вандализм, патрулирование, пикетирование, садизм* и др.

Если говорить о чешских заимствованных терминах, то они – как мы уже упоминали – немногочисленны. Однословные термины иностранного происхождения в нашем материале были представлены такими единицами, как: *apartheid, diskriminace, genocidium, prostitute, sabotáž, subsidiarita, teror*.

Основным источником заимствования является, конечно, **латинский язык**. Из него заимствовано четыре из семи терминов: *diskriminace, prostitute, subsidiarita, teror*.

В правовых системах романо-германской правовой семьи (в которую входят и чешская, и русская правовые системы) влияние римского права, а также латыни является ключевым. Именно поэтому, хотя число заимствований в уголовном праве невелико, доминирующую роль среди языков-источников играет латынь.

Отличительными чертами Римского права являлись точность формулировок, простота и ясность, поэтому оно рецептировалось в страны Европы. Большинство римских юридических терминов дошло до наших дней, став достоянием многих современных законодательных систем. Латинизмы были заимствованы в различные языки не только при непосредственном контакте с самой латынью (например, в учебных заведениях), но и при посредстве других языков. Во многих европейских государствах до XII века латынь была языком литературы, науки, официальных бумаг и религии. И позднее на латинском языке защищались диссертации и велась переписка с иностранными специалистами. Всё это способствовало созданию интернационального фонда научной терминологии.

В настоящее время западноевропейские (в основном, романские и германские) языки используют латинские юридические термины практически без изменения их орфографической структуры.

В иных языках (в частности, в славянских) процент латинских терминов и фраз, оставленных в их исконном написании, менее внушителен. Право как общественный институт (и уголовное право как одна из ключевых отраслей) формировалось у славян в эпоху, когда межъязыковые контакты были минимальны.

Многие из латинских заимствований принадлежат к так называемой интернациональной лексике, то есть имеют близкое звучание и написание в языках многих народов, объединённых между собой общими чертами культурного и общественного развития.

И в чешском языке есть пример уже приведенного в русском языке термина, образованного **от латинского и греческого корней**: *genocidium*.

Единичны примеры заимствования из **французского языка** – *sabotáž*; есть также – уникальный случай заимствования из **нидерландского языка** (по некоторым источникам – производного от него языка **африкаанс**) – термин *apartheid*.

Одним из ключевых признаков заимствования юридической терминологии является преемственность или влияние правовых идей других народов.

Проанализировав обнаруженные в тексте УК РФ однословные заимствованные термины, мы можем сказать, что все они представляют собой ассимилированные лексемы, многие из которых являются фактически образованными от заимствованного слова по словообразовательным моделям русского языка. Такие термины в данной работе мы также относим к заимствованным, поскольку их иноязычная природа и «международный» характер влияют и на их семантику, а также – употребительность и за пределами текста закона.

Несмотря на то, что практически все термины были заимствованы в русский язык давно и уже успели полностью ассимилироваться в языке, войдя

в его грамматическую и словообразовательные системы, мы хотели бы выделить несколько видов адаптированных терминов:

1. Полное межуровневое заимствование – слово «согласуется» с графикой, фонетикой, семантикой, морфологией и синтаксисом принимающего языка.

К таким словам относится большинство латинских и греческих заимствований: *дискриминация, иммунитет, кредит, лицензия, нотариус, плагиат, симуляция* и др.

При этом часто определённым иноязычным словообразовательным формантам соответствуют совершенно определённые словообразовательные форманты русского языка:

лат. *simula-tio* – «видимость, притворство» – рус. *симуля-ция*; лат. *provoca-tio* – «вызов» – рус. *провока-ция*;

лат. *-caedo* – «убивать» – рус. *гено-цид, эко-цид*;

Эта группа – самая обширная. Все термины, включённые в неё, полностью ассимилировались на всех уровнях языка – они получили свой закреплённый графический облик, фонетически адаптировались к звуковой и орфоэпической системе русского языка, они, как правило, имеют полный набор грамматических форм и на синтаксическом уровне функционируют наравне с исконными по происхождению словами.

Однако такие термины сохраняют внешние признаки заимствованных лексем: например, флексии типа **-ция** (*лицензия, дискриминация, симуляция* и др.), **-ус** (*нотариус* и др.); многие из них являются «интернационализмами» («европеизмами») и известны не только в русском языке (*дискриминация, плагиат, иммунитет* и др.).

Иными словами, все заимствованные термины, так или иначе, распознаются носителями языка как иноязычные по происхождению лексемы. Можно предположить, что такие лексемы отличаются максимальной терминологичностью (т.е. наиболее полно соответствуют требованиям к «идеальному» термину, описанным, в частности, Д. Милославской), а также – не имеют синонимов и относятся к межстилевой, нейтральной в эмоционально-экспрессивном отношении лексике [Милославская 2000: 103].

2. Термин, образованный от заимствованной основы с использованием словообразовательных элементов, свойственных русскому языку.

Таковыми примерами могут быть термины: *недекларирование* (← *декларирование* ← *декларировать* ← *декларация*), *банкротство* (← *банкрот*), *дезертирство* (← *дезертир*), *пиратство* (← *пират*), *терроризм* (← *террор*) и др.

Следует отметить, что лексемы, послужившие производящими основами для образования того или иного из анализируемых терминов, сами также являются терминами. Они не встретились непосредственно в тексте УК РФ, поэтому формально находятся за пределами нашего исследования. Однако связь с ними очевидна для любого носителя языка. Для понимания производного термина необходимо знание и термина, от которого он был образован.

Способность заимствованного термина становиться словообразовательной базой означает, как кажется, ещё большую степень «освоения» его языком и носителями принимающего языка. Слово становится частью словообразовательных гнёзд, обогащает язык новыми лексемами и открывает новые словообразовательные возможности. Ведь каждое из производных слов может затем становиться (и часто становится) мотивирующей основой для новых дериватов.

3. Кальки – особый вид заимствования, при котором заимствуется не внешняя оболочка, а внутренняя форма слова. По дефиниции, предлагаемой Д. Э. Розенталем и коллективом, калькирование представляет собой «построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей». В данной работе мы будем говорить о так называемых лексических кальках, которые «возникают в результате буквального перевода на русский язык иноязычного слова по частям: приставки, корня, суффикса при точном повторении способа его образования и значения» [Розенталь, Голуб, Теленкова 2002: <http://www.classes.ru/>].

Таких примеров в УК РФ встретилось немного. К ним относятся слова, составленные с помощью славянских словообразовательных формантов, такие, как, например, *вменяемость* (← фр. *imputabilité* ← лат. *imputabilitas*), *обстоятельство* (← нем. *Umstand* или ← франц. *circonstance*, которые передают лат. *circumstantia*).

Чешский материал предоставил нам довольно мало примеров заимствованных терминов для анализа, и все они представляют собой полностью ассимилированные в языке лексемы: они вошли как в языковую систему чешского языка, так и в терминосистему чешского уголовного права довольно давно. Тем не менее – нам удалось выделить следующие типы адаптации заимствований:

4. Полное межуровневое заимствование – слово «согласуется» с графикой, фонетикой, семантикой, морфологией и синтаксисом принимающего языка.

К таким словам относятся латинские заимствования: *diskriminace*, *prostituce*, *terror* и др.

При этом, аналогично тому, как мы это наблюдали на русском материале, обычно конкретным иноязычным словообразовательным формантам соответствуют совершенно определённые словообразовательные форманты чешского языка, которые, в свою очередь, являются языковыми «маркерами» отнесённости слов к тому или иному типу склонения:

– лат. *prostitu-tio* – «публичное выставление, продажа себя» – чеш. *prostituce*; лат. *diskrimina-tio* – «различение» – чеш. *diskriminace*;

Некоторые из адаптированных терминов сохраняют, на наш взгляд, более явно выраженные иноязычные форманты. Это такие термины, как, например, *sabotáž* (фр.) или *genocidium* (греч. + лат.). Их словообразовательные суффиксы также уже являются частью словообразовательной системы чешского языка и одновременно служат показателями определённых типов склонения.

Однако их принадлежность к так называемым «интернационализмам» представляется нам более ярко выраженной.

5. Заимствование с сохранением орфографии языка-источника. К этой группе мы бы хотели отнести единственное заимствование из голландского языка (по некоторым источникам – из языка африкаанс) – термин *apartheid*. Нетипичное для чешского языка сочетание согласных *-th-* на стыке морфем сохраняется в орфографии, но никак не отражается в фонетическом облике слова.

Это является особенностью чешского языка в отличие от русского – язык заимствует слово в исконной орфографической форме и довольно долгое время сохраняет орфографию и фонетический облик языка-источника. В русском языке подобная стадия адаптации заимствования также существует, однако различия графических систем заставляют носителей языка быстрее адаптировать графическую форму слова при его ассимиляции в языке.

Калькирование, а также **образование новых слов от иноязычных основ** в собранном нами чешском материале не было представлено.

Русские и чешские однословные термины с точки зрения словообразования.

Распределение чешских и русских однословных терминов по словообразовательным типам и словообразовательным значениям дало нам сходные результаты. В обоих языках это распределение носит довольно системный и стройный характер, что соответствует особенности юридической терминологии в принципе, и уголовно-правовой терминологии в частности. Оба языка предоставляют примеры сходных словообразовательных типов и значений.

Наиболее продуктивным способом терминообразования оказалась, без сомнения, деривация, а в ее рамках – суффиксация как ключевой способ образования существительных, в том числе и отглагольных.

Суффиксы, используемые в образовании терминов в русском и чешском языке, также можно считать аналогичными:

Ср.: **-ни(ј)-е** // **-ени(ј)-е** (со словообразовательным значением «обобщённое, вещественное или собирательное понятие, являющееся результатом действия, имевшего место в прошлом»): *дея-ни(ј)-е*, *изнасилова-ни(ј)-е*, *истязана-ни(ј)-е*, *наказа-ни(ј)-е*, *оскорбл-ени(ј)-е*, *опьян-ени(ј)-е*, *показа-ни(ј)-е*, *понужд-ени(ј)-е*, *помилова-ни(ј)-е*, *похищ-ени(ј)-е*, *пресеч-ени(ј)-е* и др.

-n(i) // **-t(i)** (со словообразовательным значением действия или результата действия): *donuce-n-í*, *tuče-n-í*, *nadržová-n-í*, *opomenu-t-í*, *pleně-n-í*, *podplace-n-í*, *spolče-n-í*, *sroce-n-í*, *srozumě-n-í*, *usmrce-n-í*, *vloupá-n-í*, *vyhoště-n-í* и др.

Ср.: **-ств-о** (со словообразовательным значением процессуального признака): *вымогатель-ств-о*, *издеватель-ств-о*, *мошенниче-ств-о*, *надругатель-ств-о*, *предприниматель-ств-о*, *убий-ств-о*, *членовредитель-ств-о* и др.

-stv(i) // **-ctv(i)** (со словообразовательным значением действия, обладающего определённым признаком): *kuplíř-stv-í*, *podílnic-tv-í*, *pytlác-tv-í*, *účasten-stv-í*, *úplatkář-stv-í*, *výtržnic-tv-í*, *vyzvědač-stv-í* и некоторые другие.

Ср.: **-ость** (со словообразовательным значением непроцессуального признака): *законн-ость, небрежн-ость, невменяем-ость, неосторожн-ость, ответственно-ость, правомерн-ость, преступн-ость, противоправн-ость, ответственн-ость, судим-ость, халатн-ость* и др.

-ost-ø (со словообразовательным значением непроцессуального признака / опредмеченного признака): *nepřičetn-ost-ø, nedbal-ost-ø, protiprávn-ost-ø, příčetn-ost-ø, zákonn-ost-ø* и некоторые другие.

Примечательно, что в обоих языках исследуемые термины распределились по основным, описанным выше словообразовательным типам практически без остатка. Это значит, что примеров, иллюстрирующих иные, отличные от названных словообразовательных значений, очень мало, иногда – нет совсем. Это свидетельствует о значительной степени упорядоченности уголовно-правовой терминосистемы в обоих языках. А сходство словообразовательных типов (вплоть до полной аналогии суффиксов) позволяет говорить об общих истоках и механизмах формирования уголовно-правовой терминологии в родственных языках.

Русские и чешские термины-словосочетания.

Полилексемные термины в обоих языках составили большинство. В русском материале термины-словосочетания составили около 70% всех привлеченных к анализу терминов, в чешском – более 80%.

При этом нам удалось выделить следующие общие черты в структуре многословных терминов в чешском и русском языках:

Прежде всего, в обоих языках приоритетное распространение имеют термины-словосочетания, состоящие из двух слов. Это такие русские термины-словосочетания, как, например: *государственная измена, преступное деяние, должностное лицо, крайняя необходимость, крупный размер, наркотическое средство, оконченное преступление, организованная группа, освобождение от наказания, опасный рецидив, сложение наказаний, смертная казнь, совокупность преступлений, срок давности, тяжкое преступление, условное осуждение* и др.

Некоторые чешские примеры для сравнения: *trestný čin, úřední osoba, krajní pouze, hrubá nedbalost, návyková látka, organizovaná skupina, páchání činu, podmíněné odsouzení, souhrnný trest, společný trest, promlčecí doba, zločin proti lidskosti* и др.

Интересно при этом отметить такие случаи, когда структура и количественный состав лексических единиц, образующих термины, которые отражают одно и то же понятие, в чешском и русском языках не совпадает.

Самым ярким примером является, пожалуй, ключевое понятие уголовного права – **преступление** (чеш. **trestný čin**). В русском языке это ключевое понятие обозначено термином-универбом, отглагольным существительным, образованным от глагола *преступить*, отражающим в себе, фактически, целую систему понятий. То есть – само слово подразумевает некие границы дозволенного поведения, которые «преступаются». Сам глагол, от которого этот термин образован, термином не является. Более того, в современном языке дан-

ный глагол существует с полногласным вариантом приставки – *perestupnat*, неполногласный вариант *prestupnat* является стилистически маркированным и ограниченным в употреблении.

Чешский же язык для ключевого понятия уголовного права выбирает описательный двухсловный термин – *trestný čin* (буквально «наказуемое деяние»). Примечателен тот факт, что в чешском уголовном законе до 50-х годов XX века использовался однословный термин «*zločin*», который, однако, затем был вытеснен чешским законодателем, вероятно, в силу стремления к наибольшей стилистической нейтральности терминологии уголовного права. Последняя редакция *trestního zákoníku České republiky*, тем не менее, вернула этот термин в закон, наделив его более узким терминологическим значением и ограничив его сочетаемость. Теперь термин *zločin* употребляется только в трёхсловном термине-словосочетании *zvlášť závažný zločin* и обозначает особо тяжкие преступления. А нейтральным, общим остаётся термин *trestný čin*.

Другим примером структурного и количественного несовпадения формантов близких понятий может послужить термин *государственная измена*, которому в чешском уголовном законе отвечает однословный термин *vlastizrada*. Помимо различного способа соединения формантов (двухсловный термин – универб, образованный с помощью сложения), примечателен также выбор лексемы для обозначения объекта преступления (родины, государства, отечества). Русский термин формально не называет государства, об измене которому идёт речь. Чешский же в этом контексте предельно ясно говорит о том, что речь идёт о государстве, в котором преступник родился. Русский термин *измена Родине* в современной редакции УК РФ не употребляется.

Двухсловные термины в обоих языках в основном представлены либо атрибутивными словосочетаниями существительного с относительным прилагательным, либо – существительного в именительном падеже с существительным в родительном падеже без предлога. Подобные модели оказались наиболее распространёнными в обоих языках. Мы считаем, что причиной этому может служить как родство языков (а значит – сходство функций атрибутивного и родительного беспредложного падежа в двухсловных конструкциях), так и специфика уголовно-правовой терминологии, призванной отражать понятия в их отношении к чему-либо, либо – действия и их результаты в сочетании с объектами этих действий.

В русских и чешских терминах-словосочетаниях наблюдались следующие отличия:

Во-первых, чешский материал практически не имеет примеров полилексемных терминов с глаголами. Они действительно единичны в уголовно-правовой терминологии (действие чаще выражается отглагольным существительным – как результат), однако русский материал предоставил нам несколько примеров, которые мы смогли объединить в одну структурную модель: *отбывать наказание, объявить предупреждение, применять меры, усиливать наказание, содействовать совершению преступления, нарушать общественный*

порядок, подлежать уголовной ответственности. В чешском же материале встретился лишь один пример: *úmyslně usmrtil*.

Во-вторых, русский терминологический материал позволил нам сколь угодно последовательно и системно классифицировать по структурным моделям только термины-словосочетания из двух и трёх лексем. Примеры, состоящие из четырёх и более слов, встречались единично и не позволяли делать выводы о наличии более или менее закреплённых моделей образования многословного термина.

Чешский же материал, напротив, в части полилексемной терминологии показал большую системность и более чёткую распределённость по структурным моделям. Среди четырёхсловных терминов удалось выделить семь структурных моделей, каждая из которых насчитывала от пяти до двенадцати примеров в выбранном материале.

Выводы. Анализ чешского и русского терминологического материала позволил нам утвердиться в высказанном в начале этой статьи предположении об общем сходстве уголовно-правовых терминосистем в чешском и русском языке (например, распределение однословных терминов по словообразовательным типам в исследуемых языках очень схоже). Однако выявленные отличия на уровне происхождения лексем (русский материал располагал большим количеством примеров заимствованных терминов, что позволило нам выработать более или менее последовательную классификацию способов адаптации терминов в языке, в то время как чешских заимствованных терминов встретилось довольно мало), а также – на уровне структуры полилексемных терминов (в этой части чешский язык нам дал гораздо больше примеров, на основании изучения которых мы смогли сформировать более чёткую типологию структурных моделей, по которым образуются термины-словосочетания).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- МИЛОСЛАВСКАЯ, Д. И. (2000): *Типовые трудности семантической интерпретации юридического текста. Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии*. Барнаул, АГУ, 2. С.102–105
- РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э., ГОЛУБ, И. Б., ТЕЛЕНКОВА, М. А. (2002): *Современный русский язык*. М., Наука: // Электронное издание: <http://www.classes.ru/grammar/126.Rosental-modern-rusina-language/c8-p31.htm> (26.03.2012).
- Русская грамматика. Т.1: фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология*. Москва: «Наука», 1980.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ* (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 07.08.2011) // «Собрание законодательства РФ». – 1996, 17.06. - №25, ст.2954.
- ХИЖНЯК, С. П. (1997): *Юридическая терминология: формирование и состав*. / С. П.Хижняк – Под ред. академика МАН ВШ Л.И.Баранниковой. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та.
- DOKULIL, M. (1967): *Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen*. Praha: Academia.
- POŠTOLKOVÁ, V., ROUDNÝ, M., TEJNOR, A. (1983): *O české terminologii*. Praha: Academia.

MONIKA VOKURKOVÁ

Česká republika, Olomouc

ODRAZ MODERNÍ RUŠTINY V JAZYCE SOUČASNÉ RUSKÉ DETEKTIVKY

ABSTRACT:

The change of contemporary Russian, most noticeable in everyday communication, journalism and literature, can be seen on all the language levels. Thanks to the efforts of D. Dontsova authentic dialogue and indirect characterization of characters through the language, we can successfully demonstrate contemporary Russian typically on ironic detective stories of this author.

KEY WORDS:

Russian ironic detective stories – D. Dontsova – colloquial speech – jargon – general slang – common speech – Anglicism.

Bouřlivý vývoj, kterým prošel ruský společensko-politický systém během posledních dvaceti let, tj. od počátku tzv. přestavby přes popřestavbové období do současnosti, ale i zvyšující se míra vědění obecně vyvolaly jednak rychlý růst počtu neologismů a jednak potřebu využít obsahový a významový potenciál už existujících slov, jenž umožňuje procesy doprovázející změny smyslu slova, vznik úplně nové sémantiky i stylistické přehodnocení zabarvení slova. Změny, které postihly ruštinu, lze zaznamenat ve všech jazykových rovinách. Jsou natolik zásadní a signifikantní, že o současné ruštině lze s určitou nadsázkou hovořit jako o novém ruském jazyce nové ruské společnosti. Změny v ruštině mají vliv na všechny vrstvy jazyka, včetně spisovné ruštiny a sféru jejího užití. Dochází k výrazné liberalizaci norem a tím i ke změně vztahu společnosti k rodnému jazyku. Jeho nositelé už přestali považovat dosavadní normy jako něco nezbytného a závazného. Zejména současný hovorový jazyk, užívaný v každodenní běžné komunikaci a v publicistice se natolik liší od podoby jazyka, jak jej znaly střední a starší generace české populace, že tato skutečnost může být závažnou překážkou vzájemného porozumění. Rozšíření sféry neformální konverzace vede k méně častému využití připravených, oficiálních a korektních jazykových projevů. Rychlejší slovtvorbu umožňuje pronikání přejatých a nespisovných jazykových prostředků (tedy jednotek slovní zásoby v jazyce již

existujících) do hovorové řeči. Běžná řeč, ale i psaný jazyk se otevírá hovorovým a nespisovným jazykovým prostředkům, jako je „prostorečije“, slang – zvláště mládežnický, a argot.

Na významných změnách současného ruského jazyka se svým přispěním k šíření nové slovní zásoby značnou měrou podílejí sdělovací prostředky, ale nejen ony. Svůj podíl na šíření inovací v jazyce má i literatura. Je přirozené, že nejdříve a v největší míře se jazykové změny projeví v žánrech tzv. masové literatury, které nevyžadují od autora dlouhodobé studium problematiky a mnohaletou přípravu materiálů, které nekladou vysoké nároky na vzdělanost a sečtělou čtenáře, jejichž cílem je zaujmout průměrného čtenáře a pobavit ho. Ju. Ryžov ale také uvádí: «С нашей точки зрения, существование массовой культуры не только закономерно, но и желательно, поскольку она интегрирует в единое целое чрезвычайно сложное информационное общество, и осуществляет адаптацию индивида к этому обществу, формируя у него определенную систему ценностей» [Рыжов 2006].

Jedním z nejpobulárnějších žánrů současné masové kultury je detektivní literatura. Rostou počty výtisků jednotlivých publikací, podle nichž vznikají pak sekundárně rozhlasové hry, seriály, filmy apod., autoři detektivek pravidelně vítězí v nejrůznějších čtenářských anketách popularity a účastní se i jinak veřejného života. Jejich další publikace pak mohou vyjít ještě vyšším nákladem. Nehledě na to však také v žánru detektivní literatury dochází ke změnám. V ruské komerční literární sféře se jako protipól tzv. „mužského“ detektivního románu, kde hrají vedle kriminálních motivů významnou roli také témata války a vlastenectví, objevuje „ženský“ detektivní román, založený na jiném způsobu nahlížení situace, zobrazování jiného sociálního a kulturního prostředí a hlavně na odlišném typu hlavního hrdiny (např. D. Doncovová, D. Kalininová a další). Vedle toho se objevují neméně populární detektivky vzniklé syntézou klasického detektivního příběhu a románu červené knihovny, které lze rozpoznat např. v dílech A. Marininové, T. Ustinovové a jiných.

Dalo by se předpokládat, že pro jednotlivé druhy současných detektivních románů bude typická standardizace ve využití gramatických, lexikálních a stylistických jazykových prostředků z důvodu nepochybné šablonovosti stylu, syžetu i hrdinů. V ruské detektivní literatuře tomu tak ovšem vždy není. Jako reprezentativní vzorek naší studie může posloužit slovní zásoba tzv. ironických detektivek Darji Doncovové, které, jak už název žánru napovídá, nepostrádají ironický patos. Je pochopitelné, že její detektivní romány nemohou být absolutní výjimkou z hlediska standardizace a textových šablon. Jazykové stereotypy chápe ruská stylistika jako: „всякое часто повторяемое речевое средство, например, шаблонные метафоры, определения, потерявшие свою образную силу из-за постоянного обращения к ним“ [Голуб 2010], nebo jako „функционирующие в речи устойчивые формулы, ориентированные на экспрессию и стандарт, паразитирующие на речевой культуре, претендующие на стилистическую окрашенность“ [Жеребило 2011]. Různá klišé a stereotypy nacházíme i v tvorbě D. Doncovové. Jde především o určité textové vzorce, které jsou s úspěchem opakovány ve všech detektivkách autorky. Mimo jiné jde o formální vyjádření jejího autorství, podle něhož dokáže každý obeznámený čtenář rychle a správně dílo identifikovat. Ironická podstata detektivních

románů D. Doncovové, tedy nejvýraznější prvek, odlišující tento druh detektivky od tzv. mužského detektivního románu, se projevuje už v titulcích, jejichž podstatou jsou obyčejně různé jazykové hříčky, založené na logické nespojitelnosti uvedených slov (*Зимнее лето весны*, *Бабочка в гупсе*) nebo na odkazu k jinému textu (*Дьявол носит лапты*, *Мыльная сказка Шахерезады*). Titulek navíc většinou obsahuje některé ze slov, která jsou svým obsahem blízka ženskému myšlení a chápání světa a jsou také příznačná spíše pro ženský slovník (srov. např. *Фен-шуй без тормозов*, *Горячая любовь снеговика*, *Фейсконтроль на главную роль* apod.). Ironii a nenucenost vnímá čtenář také prostřednictvím expresivní řeči vypravěče, jímž je vždy detektiv: *Евлампия Романова (Лампа)*, *Иван Подушкин*, *Виола Тараканова (Вилка)*. Na tomto místě se střetávají autorské stereotypy D. Doncovové s přirozenou snahou o originalitu. Jazyková expresivita, o které je tady řeč, je příznačná vedle nových slov zvláště pro hovorovou ruštinu a nespisovné formy jazyka.

I přes četné pokusy se dosud nepodařilo určit jednoznačně místo hovorové ruštiny v systému jazykových stylů a forem. Hovorová ruština může být součástí spisovného ruského jazyka jako jedna z jeho vrstev, jež podle jedné koncepcí není součástí funkčních stylů [Земская 1987], nebo naopak podle jiných (O. A. Laptěvová, O. B. Sirotinová) je považována za funkční styl mluvených, neknižních, dialogických projevů. Takto vymezená hovorová řeč obsahuje jen prostředky spisovného jazyka. V obou případech mluvíme o *hovorové ruštině v úzkém smyslu*.

Oproti tomu ruská hovorová řeč v širokém smyslu je jednou ze základních forem komunikace. Využívá se v neformálních běžných situacích. Má některé společné rysy (dané mluveností, dialogičností a typem projevů) s hovorovou řečí v úzkém smyslu, ale na rozdíl od ní může obsahovat i jazykové prostředky dialektů a jiné nespisovné prostředky, např. „prostorečije“ nebo žargonismy. Ruská hovorová řeč v širokém smyslu bývá označována termíny jako *бытовой тип речи*, *разговорно-бытовой вариант литературного языка*, *разговорно-бытовой стиль* nebo *обиходно-бытовая речь*. Do češtiny se termíny překládají jako *běžně mluvená ruština*. Běžně mluvená ruština nemusí být zákonitě součástí hovorového jazyka a oba systémy nemohou být ani ztotožňovány.¹

V románech D. Doncovové se setkáváme s oběma typy hovorové řeči. Pro řeč realizovanou nejčastěji ústní formou je typická tendence k ekonomii jazykových prostředků (univerbizace, metaforizace, přejímání atd.). Minimalizace se projevuje vypouštěním některých hlásek nebo i částí často užívaných slov, jako je např. *уас* místo *сейчас*, *здрасте* místo *здравствуйте* atd. Nedůsledná výslovnost postav (stejně jako volba gramatického tvaru nebo využití slovníku substandardního lexika, viz dále) mnoho vypovídá o charakteru hrdinů, o jejich vzdělání, o sociálním prostředí, v němž se pohybují apod. Vzhledem k tomu, že cílem detektivní literatury není sledovat vývoj osobnosti jakékoliv z postav, jde o velmi užitečný způsob nepřímé

¹ Podobnou situaci lze pozorovat také v češtině, kde se vedle spisovného jazyka, jehož součástí je i hovorová čeština, rozlišuje také obecná čeština, již někteří považují za interdialekt s širším uplatněním, než jaké mají interdialekty moravské, ale jiní jí přisuzují platnost celospolečenskou [Jelínek 1966: 110]. Aby se překlenula nejednotnost ve vymezení hranic spisovného hovorového jazyka a obecné češtiny, užívá se někdy nadřazeného termínu *běžně mluvený jazyk*. (B. Havránek, A. Jedlička, F. Daneš, K. Hausenblas, M. Jelínek aj.)

charakteristiky. D. Doncovová ve svých ironických detektivkách, kterých ročně vydává cca 10 (*sic!*), výše uvedené vlastnosti příznakových jazykových prostředků bohatě využívá, např.:

Здрассти, – плаксиво протянула она. – Вы ловите гадов, которые изменяют женам? (ФШ: 37),

Лицо перекошено, один глаз не открывается, нос на боку, рта еще как будто нет, кожа в каких-то язвах <...> (ФШ: 123).

V lexiku dochází k univverbizaci, v hovorové syntaxi se běžně setkáváme s elipsou:

Вы из милиции, что ли? – устало спросила Лариса. (ФШ: 114).

a parcelací, při níž je větný celek rozdělen na několik samostatných intonačně ukončených segmentů:

Результат, простите за ужасный каламбур, налицо! Несколько операций, задет нерв, красота потеряна. (ФШ: 124).

S tím souvisí i tendence užití jednoduchých krátkých vět bez přechodníkových konstrukcí a přídavných jmen slovesných:

Совсем малыша расстроили. Разве можно мелкого до слез доводить, и вообще, что, вам трудно ему пару оладий сгношить? На две минуты дел! Не надо опару ставить! На кефире сделайте! (ККО: 171).

Většina výše uvedených prostředků běžné mluvy je považována za stylisticky sniženou vrstvu jazyka.

Mluvčí s omezenými jazykovými a řečnickými dovednostmi nebo zkušenostmi vkládá do své řeči množství pauz, parazitních slov, fragmenty jeho výpovědi na sebe nenavazují, objevují se přeroknutí atd. Jazyk románů D. Doncovové i humor a ironie, jež jsou pro její detektivky rovněž typické, staví na dialogu, a to dialogu autentickém, např.: <...> – *Похоже, вы тут завсегда таи, что здесь самое хорошее? – Э... ну...да... – Осетрина? Или мясо? А может, паста с грибами? Кстати, отдайте мобильный.* <...> (ФШ: 208).

Autentičnost dialogů (a nepřímou také zároveň charakteru postav, jak už bylo řečeno) demonstruje Doncovová také hojným využíváním jazykových prostředků nespisovných vrstev ruštiny. Hovorový ruský jazyk má zvlášť úzké kontakty s nespisovným útvarům zvaným „prostorečije“ (просторечие)². Hranice mezi nimi (stejně jako hranice mezi hovorovou ruštinou a žargonním lexikem – viz níže) je mnohdy velmi nezřetelná, proto konkrétní výraz, popř. výrazy stejné stylistické hodnoty, jsou jednou lexikografy řazeny k hovorovým jazykovým prostředkům a jindy k prostředkům „prostorečija“. Mimo jiné je to dáno tím, že vedle spisovné ruštiny je „prostorečije“ ve formě lidové mluvy (народно-разговорные речевые средства) společně s částí žargonu celospolečensky srozumitelnou formou národního jazyka. K dalšímu sblížení s termínem *hovorová ruština* došlo také po zavedení termínu spisovné „prostorečije“ (литературное просторечие³). Jde o historicky podmíněnou (období po smrti

² Tato forma řeči vznikla z městského běžně mluveného koiné. V době, kdy se začal formovat spisovný jazyk, jehož součástí se stala i hovorová ruština, se úloha „prostorečija“ jako vrstvy specifických expresivních, stylisticky snížených jazykových prostředků ustálila především jako jeden z prostředků sociální charakteristiky mluvčího.

³ např. Sorokin 1965, s. 24, Filin 1981, s. 51 – cit. dle [Николаева 2009: 35].

A. S. Puškina), lexikálně stylistickou kategorií, která, jak píše T. M. Nikolajevová, „является следствием формирования общенациональной литературной нормы, являя собой разновидность разговорной литературной речи и стилистически маркированный пласт литературного языка“ [Николаева 2009: 35].

Vnímání slovní zásoby na hranici hovorové ruštiny, žargonu a „prostorečija“ a její zařazení často závisí na konkrétní komunikační situaci, kontextu a dalších slohotvorných činitelích. Jazykové prostředky „prostorečija“ se vyznačují výraznou expresivitou, příznačná je pak expresivita negativní, jež je realizována prostřednictvím celého rejstříku odstínů od nenucenosti (familiárnosti) až k vulgaritě. To ovšem platí také pro jazykové jednotky slangové (žargonní). Terminologické vymezení pojmů slang a žargon je složité. Někteří lingvisté je považují za synonymní, ale jiní přisuzují termínům různý obsah: česká lingvistika dává tradičně přednost termínu *slang*, který je chápán jako „svěbytná část národního jazyka, jež má podobu nespisovné jazykové vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) jazykovém styku lidí vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či zájmové sféře“ [např. Hubáček 1988: 8]. Mimo to je také vydělován *argot*, „zvláštní vrstva slov v mluvě společenské spodiny“ [např. Hauser 1980: 27]. Ruská lingvistika často slučuje slang a argot v termín *žargon*, který je výstižně popsán v encyklopedii „Русский язык“ L. Skvorcovem [Скворцов 1997: 129].

Součástí „prostorečija“ se staly i původně slangové (žargonní) výrazy typu *баксы, грины, бабки, сров.*:

Квартира в «Парадизе» не один миллион баксов стоит! (ФШ: 58);

<...> получите приличную сумму в пятьсот долларов. – Полтышци гринов еще никому не помещали. (НЖ: 119)

nebo slova tematické skupiny „jídlo“ jako *хавка, харчевня, харчи, харчиться, харчить, схомячить, сховать*. *Сров. např.:*

Просто так Римму кормить не станут, ей придется отрабатывать харчи, обслуживая на дороге клиентов. (РЗ: 26)

V ironických detektivkách se však setkáváme také s mnoha dalšími výrazy tohoto typu, např. *тусовка, запудрить* aj. *Сров. např.:*

Опрокинув бокальчик-другой напитка, тусовка начинает развлекаться, ведет чинные разговоры, обсуждая тех, кто еще не вошел в гостиную, либо мусоля, последние сплетни. (РЗ: 209)

Stejně často jako jazykové prostředky „prostorečija“ jsou v ironických detektivkách využívány žargonismy. Jejich užití je pak motivováno sociálním prostředím, případně věkem literárních postav, nebo přímo tematickým zaměřením konkrétního díla (prostředí televize, modelingu, šlechtitelů psů apod.). Vedle sebe se tak nejčastěji vyskytují mládežnický a zločinecký žargon. *Сров. např. slovník narkomanů a prostitutek: ширялово, косячок, кайф, дурь, снежок, тырить, путана, потрах, трахать(ся), ксива* apod. *Сров. např.:*

И она совершенно не собиралась снова „садиться на иглу“. (ДСК: 34);

Что вас разберет, – вздохнула «бизнесменша», – ходють тут всякие, хо-рошего слова не услышишь. Один отвлекает, другой товар тырит. (PЗ: 37);

Сядь и успокойся, – велел муж. – Я? Я? Я? – заталдычило чудище, надвига-ясь на испуганно вжавшуюся в стену девушку. – Ты тут со шлюхами тра-хаешься! (PЗ: 91)

Co se týče mládežnického slangu, mimo pojmenování lidí a nejrůznějších věcí, využívá se v detektivkách D. Doncovové nejčastěji jako prostředek hodnocení, např.: *супер, класс, прикол. Srov.:*

<...> Они купились! – затараторила Мэри, уstraиваясь в машине. – Классно вышло, – подхватила маменька. – Вау, супер! Прикольно. (PЗ: 219)

Pokud zde hovoříme o nových prvcích v běžné ruské komunikaci a zmínili jsme jazykové prostředky hovorové, „prostorečije“ i žargon, je třeba upozornit také na jeden z neaktivnějších lexikálních procesů současné ruštiny, a to přejímání lexikálních jednotek z cizích jazyků. N. S. Valginová píše: „В 90-е годы XX столетия одним из наиболее активных и социально значимых языковых процессов оказался процесс заимствования иноязычных слов. Иноязычное слово, чаще всего английское, в современном русском контексте – это одна из примет «языкового вкуса эпохи»“ [Валгина 2003]. Zájem o anglicismy však od konce 90. let, jak se zdá, stále roste. Důvodů k nárůstu přejímek je hned několik. Jde nejen o potřebu pojmenovat nové věci a jevy nebo upřesnit, příp. rozlišit jednotlivé pojmy (viz např. výrazy *плеер* vs. *проигрыватель*), ale také o tendenci využít již existující termíny v odborné sféře (*консервант, консенсус*), či jako prostředek eufemizace. Zvláště pro jazyk mládeže je pak typická ještě jedna příčina využití přejatých slov, a to snaha o módní vyjadřování. Přejaté slovo je často vnímáno jako prestižnější než původně ruský pojem: např. *бутик* – neoznačuje jakýkoliv malý krámk, ale výběrový a drahý obchod s módním oblečením apod.

Vzhledem k tomu, že mnozí autoři detektivního žánru usilují o originalitu, novost, prestižnost a expresivitu volených jazykových prostředků, nacházíme v řeči jejich postav nepřeborné množství přejímek, zvláště anglicismů. Některé z nich mohou opět sloužit jako prostředky nepřímé charakteristiky. Pokud v příběhu usilují některé postavy o demonstraci zevrubné znalosti angličtiny a tím také svého vzdělání, případně úzkého sepětí se svým (atraktivním) pracovním prostředím, projevuje se tato snaha právě vyšší koncentrací anglicismů v jejich řeči. Srov. např. výrazy užívané D. Doncovovou: *фешн-бизнес, спич, секьюрити, сэйл, рокер, ресепшн, рейтинг, раунд, прайм-тайм, плиз, пилинг, пирсинг, пазл, офис, ноутбук, маркет, мадам, лайт, лайм, клип, имиджмейкер, джип, гламур, вумен, вип, винтаж, босс, блоггер, билборд, бейджик* aj.

Nových výpůjček z jiných jazyků je velmi málo, ale pro příklad můžeme uvést původně německé *автобан* nebo již zmíněné francouzské *бутик*, případně názvy krajových jídel, jako je např. italská *лазанья*.

Na závěr bychom ještě chtěli poukázat na čím dál častější (např. O. P. Jermakovová, E. A. Zemská nebo R. M. Rozinová) použití termínu *общий сленг* nebo *общий жаргон* v ruské lingvistice (o termínech také Л. Степанова 2007). Ruští lingvisté chápou nutnost nějakým způsobem pojmenovat a vymežit jazyk, jež využívají (nejen)

obyvatelé ruských měst a který se pak pochopitelně odráží také ve sdělovacích prostředcích a literatuře, jak jsme naznačili výše. Kupř. L. A. Kudrjavcevo­vá specifikuje *общий сленг* z několika hledisek: 1) jako vrstvu stylisticky příznakové expresivně-­emotivní slovní zásoby, která je v daném období relativně stabilní a která označuje jevy, předměty, procesy a příznaky související s běžným životem; 2) jako část městského „prostorečija“, jež nelze zařadit k jedinému sociálnímu prostředí, zvláště proto, že jeho zdrojem jsou nej­různější sociolekty (nejčastěji mládežnický a zločinecký slang); 3) jako jazykové prostředky, které jsou rozloženy po celé jazykové ose: nespisovnost-­spisovný standard; 4) jako slovní zásobu, kterou mluvčí využívají především k vyjádření svých pocitů, hodnocení a také jako součást jazykových hříček [Кудрявцева 2005]. Toto chápání dané formy jazyka velmi usnadňuje klasifikaci některých jeho jednotek a my tak můžeme např. prohlásit, že všechny postavy ironických detektivek Darji Doncovové se vyjadřují obecným slangem, který bohatě doplňují slovy přejatými z angličtiny, a že právě tento typ řeči je pro současný ruský detektivní román primární.

EXCERPOVANÉ ZDROJE:

- ДСК – Донцова, Д. (2000): *Дама с коготками*. М.: Эксмо Пресс.
 ККО – Донцова, Д. (2006): *Концерт для колобка с оркестром*. М.: Эксмо.
 НЖ – Донцова, Д. (2004): *Надувная женщина для Казановы*. М.: Эксмо.
 РЗ – Донцова, Д. (2005): *Рыбка по имени Зайка*. М.: Эксмо.
 ФШ – Донцова, Д. (2008): *Фен-шуй без тормозов*. М.: Эксмо.

POUŽITÁ LITERATURA:

- БЕЛЬЧИКОВ, Ю. А. (1990): Просторечие. In: В. Н. Ярцева (ed.): *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия. [Dostupné na: <http://tapemark.narod.ru/les/402b.html> (20.2.2012)]
- БЕЛИКОВ, В. И. (2007): С сотового на мобильный. In: *Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина*. М.: Языки славянской культуры. С. 61–67.
- ВАЛГИНА, Н. С. (2003): *Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов*. М.: Logos. [Dostupné na: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/index.html?part-008.htm> (12.9.2010)]
- ГОЛУБ, И. Б. (2010): *Стилистика русского языка*. М.: Айрис-Пресс. [Dostupné na: <http://lib.rus.ec/b/355896/read> (3.8.2012)]
- ГРАУДИНА, Л. К., ШИРЯЕВА, Е. Н. (1999): *Культура русской речи. Учебник для вузов*. М.: НОРМА-ИНФРА. [Dostupné na: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/index.php (25.8.2011)]
- ДЬЯКОВ, А.И. (2003): Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке. In: *Язык и культура*. Новосибирск. С. 35–43. [Dostupné na: <http://www.philology.ru/linguistics2/dyakov-03.htm> (20.5.2012)]
- ЕРМАКОВА, О. П. (1996): Семантические процессы в лексике. In: *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*. М.: Языки русской культуры. С. 32–66.
- ЖЕРЕБИЛО, Т.В. (2011): *Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: Словарь-справочник*. – Назрань: ООО «Пилигрим». [Dostupné na: http://lexicology_dictionary.academic.ru/ (2.8.2012)]
- ЗЕМСКАЯ, Е. А. (1996): Активные процессы современного словопроизводства. In: *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*. М.: Языки русской культуры. С. 90–141.
- ЗЕМСКАЯ, Е. А. (1987): *Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения*. Москва: Русский язык.
- ЗЕМСКАЯ, Е. А. (1983): *Русская разговорная речь*. М.: Наука.
- КИТАЙГОРОДСКАЯ, М. В., РОЗАНОВА, Н. Н. (1996): Современная городская коммуникация: тенденции развития (на материале языка Москвы). In: *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*. М.: Языки русской культуры. С. 345–383.
- КОЗЛОВ, Е.В. (2003): *К вопросу о повторяемых структурах в художественном тексте массовой коммуникации* // Информационный портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология,

- семиотика»; [Dostupné na: <http://www.ruthenia.ru/folklore/kozlov1.htm>. (1.8.2012)]
- КРЫСИН, Л. П. (2003): Социальная маркированность языковых единиц. In: *Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация*. М.: Языки славянской культуры. С. 79–100.
- КРЫСИН, Л. П. (2003): Формы существования (подсистемы) русского национального языка. In: *Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация*. Москва: Языки славянской культуры. С. 33–77.
- КРЫСИН, Л. П. (1996): Эвфемизмы в современной русской речи. In: *Русский язык конца XX столетия (1985-1995)*. М.: Языки русской культуры. С. 384–408.
- КРЫСИН, Л. П. (2005): Языковая норма и речевая практика. In: *Отечественные записки*. № 2(23). [Dostupné na: <http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-05.htm> (27.8.2011)]
- КУДРЯВЦЕВА, Л. А. (2005): Язык города: общий сленг. [Dostupné na: <http://russian.kiev.ua/material.php?id=9000598> (14.11.2011)]
- НИКОЛАЕВА, Т. М. (2009): Речевая коммуникация и норма. In: *Hľadanie ekvivalentnosti IV*. Prešov: Acta facultatis philosophicae Universitatis Presoviensis. С. 34–44.
- НОВИКОВ, Вл. (2007): Из «Словаря модных слов». In: *Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина*. М.: Языки славянской культуры. С. 478–490.
- РОМАНЕНКО, А. П. (2007): Особенности современной словесной культуры. In: *Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина*. М.: Языки славянской культуры. С. 507–509.
- РЫЖОВ, Ю. В. (2006): *Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве*. М.: Смысл. [Dostupné na http://www.binetti.ru/studia/ryzhov_11_3.shtml (15.8.2012)]
- СКВОРЦОВ, Л. И. (1997): Жаргон. In: Ю. Н. Караулов (ed.): *Русский язык. Энциклопедия*. М.: Дрофа.
- СКЛЯРЕВСКАЯ, Г. Н., ШМЕЛЕВА, И. Н. (1974): Разговорно-просторечная и областная лексика в словарях и в современном русском языке. (Лексикографический аспект). In: *Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков*. М. С. 88–94. [Dostupné na: <http://www.philology.ru/linguistics2/sklyarevskaya-74.htm> (5.10.2011)]
- СТЕПАНОВА, Л. (2007): К понятию *общи́й жаргон* в современном русском языке. In: *Rossica Olomucensia XLV (za rok 2006)*. Olomouc, s. 79–86.
- СТЕПАНОВА, Л. (2008): Наблюдения над языком современных российских газет. In: I. Pospíšil, M. Zelenka (eds.) *Česká slavistika 2008*. Vrno–Praha: ACADEMICUS. С. 267–275.
- ХИМИК, В. В. (2004): *Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. (Предисловие)*. Ст.-Петербург: Норинт. [Dostupné na: <http://www.philology.ru/linguistics2/khimik-04.htm> (6.10.2011)]
- ХИМИК, В. В. (2000): *Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен*. С.-Петербург: ФФ СПбГУ.
- BARNET, V. (1970): Jaký je lingvistický status hovorové ruštiny? *Československá rusistika* 15, 1970, s. 78n.
- HAUSER, P. (1980): *Nauka o slovní zásobě*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
- HUBÁČEK, J. (1988): *Malý slovník českých slangů*. Ostrava: Profil.
- JEDLIČKA, A., FORMÁNKOVÁ, V., REJMÁNKOVÁ, M. (1970): *Základy české stylistiky*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 32n.
- JELÍNEK, M. (1966): Postavení hovorového stylu mezi styly funkčními, *Slovo a slovesnost* 27, 1966, s. 104n.
- STARÝ, S. (1972): O hovorové ruštině v sovětském sociolingvistickém sborníku. *Naše řeč* 55, 1972, s. 40n. [Dostupné na <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5601>]

ИВАНА ГАНУЛИКОВА

Чехия, Оломоуц

ЗООМОРФНЫЙ КОМПОНЕНТ В ЯЗЫКЕ ПОЛИТИКОВ

ABSTRACT:

The article deals with the questions of zoomorph components in political discourse. First we explain the basic terms like zoomorph metaphor, metaphorical model, zoonym or political discourse. The main part of the article is focused on demonstration of practical usage of the names of animals which are in their secondary meaning used in relation to man in the politicians' speeches. We primarily pay attention to the most used names of animals like a political dinosaur, a scapegoat, a ugly duckling etc.

KEY WORDS:

Political discourse – zoonym – zoosemy – metaphor – metaprorical model.

В настоящей статье хочется обратить особое внимание на **речь политиков**, а именно **употребление названий животных** в данных речах в **их переносном значении по отношению к человеку**. Повышенный интерес у нас вызывают **тексты чешского и российского политических дискурсов** в сопоставительном плане, причем внимание мы хотели бы уделить текстам, возникшим за последние двадцать лет, т.е. во время демократического, посткоммунистического периода в истории обеих стран. Главной целью настоящей статьи является определение языковых средств, мотивированных поведением и свойствами животных. Наш интерес, прежде всего, обращён к тем названиям животных, которые чаще всего встречаются в речи видных представителей обеих политических сцен. Все результаты нашего исследования сопровождаются примерами в контекстах.

Без сомнения можно утверждать, что мир животных играет в мышлении и языке человека важную роль. Человек уже с давних пор стремится жить в гармонии с природой, изучает ее и ищет какие-то общие черты с поведением, свойствами, деятельностью и внешностью животных. По словам О. Ю. Юдиной, **зооморфная метафора** имеет свои традиции не только в русской, но и в зарубежной лингвистике, причем автор на основе исследований приводит,

что **метафорическая модель «мир животных»** чаще используется для формирования негативной оценки [Юдина 2010].

Тема образа животных в языке человека очень распространена. Наше внимание больше всего привлекают **зоонимы-зоосемизмы**, т.е. названия животных, которые употребляются в переносном значении по отношению к человеку. В магистерской дипломной работе мы исследовали родовые и половые отношения при вторичной номинации на примерах зоонимов, причем мы работали с 323 названиями животных, и у 156 из них мы обнаружили вышеприведенное переносное значение [Hanulíková 2011]. В настоящее время нас уже не столь интересует теоретический фон употребления данных выражений (т.е. разработка значений по словарным источникам), поскольку наш интерес сосредоточен теперь на **языке политиков**, как передовых представителей общества, и на употреблении названий животных в их речах.

Речь политиков является составной частью **политического дискурса**. Чтобы изучать речь политиков, необходимо, во-первых, определить, что данное понятие значит и как его понимают лингвисты. Определение термина политический дискурс является сложным, так как его интерпретация не является единообразной, и разные лингвисты понимают политический дискурс по-разному. По словам Ирины Дулебовой, которая опирается на произведения русского лингвиста Е. Шейгал, **политический дискурс имеет**, также как и другие дискурсы, **два размера – реальный и виртуальный**. Под реальным политическим дискурсом при этом понимается **«обыкновенная речевая деятельность»** в определенном социальном пространстве, и тексты, как их результат. Данный текст необходимо принимать как результат интралингвистических, интерлингвистических и экстралингвистических факторов. Под понятием **виртуальный политический дискурс** понимается семиотическое пространство, включающее в себя **вербальные и невербальные знаки**, совместной характеристикой которых является мир политики, тезаурус высказываний и совокупность моделей речевых актов и жанров, характерных для коммуникации в определенной сфере [Дулебова 2012].

Политика понимается как **борьба за власть**, и язык такой политики является языком данной борьбы. Уже в самом начале демократического периода можно было в письменных и устных формах политических текстов выявить бесспорные знаки борьбы за власть, и эта тенденция продолжается до сих пор [Бартошек 1993]. Лингвисты, которые занимаются политическим дискурсом, в своих работах сходятся в том, что **слово** является основной единицей политического дискурса, так как в слове сила, в нем скрыты **манипуляция и уговаривание**, слово является одним из **важнейших орудий политика** в достижении его целей. При помощи слова осуществляется **политическая пропаганда, воздействие на общество**, умение ораторства позволяет политикам **формировать общественное мнение**. (см. Назаренко 2009; Бартошек 1993)

В политической коммуникации встречается **много метафорических моделей**, лингвисты исследуют тексты и выступления политиков с разных точек

зрения. Поскольку политология является междисциплинарной общественной наукой, нельзя политику и тексты политического дискурса изучать только с чисто лингвистической точки зрения. Скорее можно утверждать, что политический дискурс, также как и другие дискурсы, подвергаются **лингвокультурологическому анализу**. Лилия Назаренко предлагает лингвокультурные особенности текстов российских и чешских политиков, рассматривая при этом метафорические модели. По словам автора, самыми распространенными метафорическими моделями в российском и чешском политическом обществе являются модели **«политика – театр, политика – война, политика – состязание»** [Назаренко 2009].

Хотя все вышеупомянутые метафорические модели являются интересными, и обратить на них внимание оказалось бы не менее интересным, хочется в настоящий момент уделить внимание **практическому доказательству употребления зооморфного компонента в речи политиков**.

Как мы уже сказали выше, мы обнаружили переносное значение, реализующееся в названиях людей у 156 названий животных. Встречается мотивировка по внешнему облику или по свойствам характера животного, хотя необходимо иметь в виду, что все оценки (особенно негативные) приписывает животному человек, и сам часто ведет себя хуже, чем все животные мира [Hanulíková 2011]. Привести примеры употребления всех названий животных в их переносном значении по отношению к человеку, конечно, не в наших силах, но мы будем стремиться представить как можно больше разных свойств, черт характера, примеров описания внешности и т.д., чтобы доказать разнообразность языковых средств политиков и распространенность зооморфной метафоры в политическом дискурсе.

В качестве первого животного, на которое мы хотим обратить внимание, выступает утенок. В прямом значении утенок – птенец утки. В переносном значении его использование берёт начало, вероятно, под влиянием сказки «Гадкий утенок» датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Слово сочетание **гадкий утенок** происходит именно оттуда, и в обоих языках обозначает особенно некрасивого молодого человека, который неожиданно превратился в человека приятной внешности. Не всегда говорится исключительно о внешнем облике, так же имеются в виду и достоинства человека, которые совсем неожиданно открываются для остальных. А в каких ситуациях данное словосочетание употребляется в политических кругах? В чешском политическом дискурсе мы встречаем сравнение не только человека – женщины с гадким утёнком, но также сравнение с ним целой политической партии. В российском тексте, мы, напротив, сталкиваемся с тем, что к гадкому утенку приравнивается вся страна.

Karolína Peake totiž podle mého soudu není vůbec tím „ošklivým káčátkem“, na něž se usmějeme už proto, že je ošklivé, a tudíž se odlišuje od ostatních. KP je „zralá“ politička – prošla několika politickými uskupeními a od lokální politiky vystoupila až do tzv. vrcholové. Promiňme její působení u veverek – jež zastupovala až do chvíle rozpadu, který vyvolala. [1]

A hlavně tento aspekt si nejlépe uvědomují konzervativní a liberální šibřiči, a proto zcela pragmaticky vyhledávají KSČM za „ošklivé káčátko“, kterého se musejí všichni – a sociální demokraté zvláště – co nejokázaleji štítit. [2]

*Народный депутат Украины Владислав Лукьянов считает, что «Украина после Евро имеет все возможности и все шансы, как **гадкий утенок**, превратиться в большого и красивого лебедя – в белую красивую птицу, на которую все смотрят и любят». [3]*

Из вышеприведенного следует, что в обоих дискурсах встречается одна и та же мотивировка и, кроме того, в обоих языках подразумевается возможность освободиться от человека-политика и перенести данное верное высказывание на более крупную единицу. В русском тексте также можно увидеть, что рядом с гадким утенком приводится и другая сторона перемены – лебедь.

Следующим распространённым словосочетанием, которое встречается в политическом дискурсе, является **козел отпущения**. В русском языке существуют два эквивалента для обозначения какой-то жертвы. Кроме козла отпущения мы встречаем также словосочетание **жертвенный агнец**, причем в политическом дискурсе употребляются оба фразеологизма. Чешское словосочетание «**obětní beránek**» также является очень частым в текстах политического дискурса.

*Более того, временами создается впечатление, что если Ходорковского сделали «**козлом отпущения**» за все экономические преступления российской элиты, то Березовский стал олицетворением ее политических предательств. [4]*

*Премьер как **жертвенный агнец** – На смену 35-летнему реформатору Ельцин призвал 60-летнего Виктора Черномырдина, с другим знаком повторив рокировку, которая уже имела место весной, когда изгнанного Черномырдина сменил Кириенко. В настоящий момент Виктор Черномырдин временно исполняет обязанности председателя правительства, которое ему еще предстоит сформировать. [5]*

*„Faktem ovšem je, že David Rath byl ideálním **obětním beránkem**, kdyby se býval někdo rozhodl účelově ho předhodit veřejnosti jako hromosvod protikorupčního hněvu. Má totiž několik vlastností, které ho pro tuto roli doslova předurčují.“ [6]*

В чешском политическом дискурсе стало очень популярным словосочетание **политический динозавр** – для обозначения человека, который в политике уже очень долго, и его вклад и значение для общества уже невелики, и обществу нужны изменения. Термин «политический динозавр» стал в чешской политической среде очень употребляемым именно перед выборами в 2010 г., когда говорилось об устранении политических динозавров с чешской политической сцены. Политическая партия «Věci veřejné» («Дело общественное») в своей предвыборной кампании даже пользовались лозунгом «**Конец политических динозавров, голосуйте за ВВ**». [7]

*Neformálního předsedy strany Věci veřejných Víta Bárty se svými výroky však nedotkl. „Negativní hodnocení naší strany od **dinosaurů**, jako je Mirek Topolánek, je pro nás jen tou nejlepší referencí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Bárta. [8]*

*„...Věci veřejné a jejich étos tedy končí. Znamená to rehabilitaci světa **politických dinosaurů**, jimž vyhlásily před rokem a půl válku?“ ptá se Bohumil Pečinka v komentáři týdeníku Reflex. [9]*

*Но помешал тогда губернатор Турчак, который назвал меня **политическим динозавром**. Сказал, что я больше никогда депутатом Государственной Думы не буду. Как политический боец, который всегда принимает вызов, я решил остаться и победить. [10]*

Очевидно, что с понятием «**политический динозавр**» мы можем встретиться и в российском политическом дискурсе. Кажется, что этот термин еще долго будет актуальным и употребляемым, так как политические динозавры, в отличие от их животных предков, более выносливые, и избавиться от них не так легко.

К следующим животным, которые часто мотивируют оценки политических деятелей, относятся **свинья** (= prase) или **скот/скотина** (= dobytek). У обоих зоосемизмов данное выражение в переносном значении обозначает грубого, подлого и низко поступающего человека, что в политике, наспигованной коррупцией, мошенничеством и обманом, не так удивительно.

Эта грязная свинья Мамонтов брехал, как шелудивый пёс, нагло и непрофессионально, а может быть наоборот очень профессионально, как учили. [11]

Europoslanec Richard Falbr kritizoval od řečnického pultíku Škromacha, že se „zachoval jako dobytek“. „Znám ho z odborů, emoce k politice patří,“ byl v klidu Škromach. Falbrovi se nelíbila Škromachova kritika Sobotky, prý to nyní bude potrava pro média. [12]

Вчера опять записной кабан Аркашка Мамонтов вылез на Российское TV со своим грязным пасквилом о Pussy Riot. Я был поражён открытым и наглым враньем и притягивание за уши, якобы, фактов. [11]

Co předvádějí divočáci v parlamentu a teď už dlouho zejména ti vládní, to je také už mnohdy k neuvěření! Mlaskají, žerou, ba i kradou, ani sobotu neděli snad nedržejí! [13]

Так как в политике в большей мере представлены мужчины, помимо свины, можно встретить также приравнивание к **кабану**, то есть представителю мужского пола того же животного. В сочетании с всевозможными коррупционными аферами мы также часто сталкиваемся с выражениями **большая/маленькая рыба**. В русском языке для обозначения важного, значительного человека, на котором все держится, употребляется выражение «**кит**», причем в чешском языке подобного сравнения не существует. В связи с политикой также сталкиваемся со сравнением общества со **стадом овец**, хотя данное обозначение появляется чаще в дискуссиях к политическим статьям. Жестокие политики и политические партии являются **хищниками**. В том же значении, как и хищник в чешском языке встречается **акула** (= žralok). В большинстве случаев не только российские и чешские политики **скользкие как угорь** и способны пойти на любые мерзости. Хитреца общество считает **птичкой** (= ptáček). Мы могли бы долго продолжать перечисление примеров подобных негативных оценок, но сделать анализ и представить все зооморфные метафоры, которые встречаются в языке, не является главной задачей настоящей статьи.

Вышеприведенный материал доказывает, что зооморфный компонент в политическом дискурсе представлен богато, что политики часто и с удовольствием прибегают к использованию данных выражений в своих речах. Это связано также с тем, что главной задачей политика является коммуникация. Политик, который не общается со своими избирателями, является мертвым политиком. Естественно, что политик выбирает такие языковые средства, которые близки обществу, хотя и данные средства полностью не отвечают его положению или этикету.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- МАСЛОВА, В. А. (2008): *Политический дискурс: языковые игры или игры в слова?* In: Philology.ru: Русский филологический портал [online]. Екатеринбург [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: <http://www.philology.ru/linguistics2/maslova-08.htm>
- НАЗАРЕНКО, Л. (2009): *Лингвокультурные особенности текстов российских и чешских политиков*. In: Rossica Olomucensia XLVII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 149–153. ISBN 978-80-244-2515-3.
- ЮДИНА, О. Ю. (2010): *Сопоставительный анализ метафорических моделей – «Управление – это мир животных» в российском и британском управленческом дискурсе*. In: Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики [online]. 2010 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: http://ifl.usru.ru/images/stories/books/sbornik_2_2010.pdf
- BARTOŠEK, J. (1993): *Jazyk současné české politiky*. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 60 s. ISBN 80-706-7331-1.
- DULEBOVÁ, I. (2012): *Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu*. Jazyk a kultúra [online]. 2012, roč. 2012, č. 9 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: http://www.ff.unip.sk/jak/rus/9_2012/dulebova.pdf
- HANULÍKOVÁ, I. (2011): *Otázky rodových a genderových vztahů při sekundární nominaci (na příkladech zoonym)*. Olomouc, diplomová práce (Mgr.).

Источники примеров:

- [1] STEIGER, Š. (2012): *Je Karolína Peake (jenom) ošklivé káčátko? Britské listy: deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví* [online]. [cit. 2012-09-14]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: <http://www.blisty.cz/art/63166.html>
- [2] STOČES, F. (2004): *ČSSD a „ošklivé káčátko“*. NETSOCAN [online]. 2004, III., č. 5 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: <http://www.netsocan.cz/socan/numo604/duckling.html>
- [3] *Украина, как гадкий утенок, превратится в красивого лебедя*. In: FromUA.com [online]. 2012 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: <http://www.from-ua.com/news/2cboac1b81f85.html>
- [4] *Ходорковский стал «козлом отпущения» в сфере экономики, а Березовский – в политике*. In: <http://news.rin.ru> [online]. 2012 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: <http://news.rin.ru/news//131572/>
- [5] *Ельцин сжигает «новый курс» Сергея Кириенко и возвращается к «старому добром» Черномырдину*. In: Владивосток: интернет-версия газеты [online]. 1998 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=7&idnews=73878¤t_magazin=440
- [6] *Rath? Ideální obětní beránek, píše Reflex*. In: Parlamentní listy [online]. 2012 [cit. 2012-09-14]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rath-Idealni-obetni-beranek-pise-Reflex-233383>
- [7] MAŠEK, P. (2010): *Na pražském Klárově řvali dinosauri. John zahájil kampaň*. In: Parlamentní listy [online]. [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Na-prazskem-Klarove-rvali-dinosauri-John-zahajil-kampan-163660>
- [8] HECHTOVÁ, A. (2011): *Bárta se Topolánkovi vysmál: Je to dinosaurus, reklama pro nás*. In: Parlamentní listy [online]. [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Barta-se-Topolankovi-vysmal-Je-to-dinosaurus-reklama-pro-nas-195060>
- [9] *Rozpuštěné Věci veřejné rehabilitují svět politických dinosaurů*. In: Parlamentní listy [online]. 2011 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rozpustene-Veci-verejne-rehabilituji-svet-politickych-dinosauru-197614>
- [10] *Интервью с динозавром*. In: Полит Псковъ [online]. 2011 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://politpskov.com/index.php/information/1567-2012-04-10-14-54-50.html>
- [11] *Zdivočelá země?* In: Parlamentní listy [online]. 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/profil/clanek.aspx?id=12235>
- [12] *Sobotka předsedou. Škromach: Nedržíš sliby. Falbr: Jsi dobytek*. In: Parlamentní listy [online]. 2011 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sobotka-predsedou-Skromach-Nedrziš-sliby-Falbr-Jsi-dobytek-191800?diskuse&parent=504261>
- [13] *Аркашка, ты свинья*. In: О политике, экономике, СМИ [online]. 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z: <http://rus-polit.livejournal.com/1211085.html>

MARIA-STEFANIE KNAPITSCH

Česká Republika, Olomouc

PROBLEMATIKA MORFOSYNTAKTICKÉ ANALÝZY ZÁKLADNÍCH ČÍSLOVEK V RUŠTINĚ A V ČEŠTINĚ

ABSTRACT:

The purpose of this research is to analyze and summarize morphosyntactical features of cardinal numerals in Czech and Russian, focusing on their syntactical functions and their status as part of speech, which are described in the first part of the article. Its second part deals with the congruence between cardinal numerals and nouns within compound words, considering also the so called numerative in Czech and Russian. For better understanding, German examples are used sometimes.

KEY WORDS:

Numerals – syntax – morphology - Russian language – Czech language – numerative – word combination – morphosyntactic.

V úvodní části je nastíněna slovnědruhová problematika základních číslovek v ruštině a v češtině s přihlédnutím k jejich syntaktické funkci. Dále jsou podrobně zkoumána slovní spojení s těmito číslovkami. Druhá část pojednává o kongruenci slovních spojení se základními číslovkami v roli podmětu s přísudkem, pozornost je rovněž věnována tak zvanému numerativu v češtině a v ruštině. Vyskytují se i příklady v němčině.

Základní číslovky jako slovní druh

Číslovky v ruštině, češtině a němčině se z morfosyntaktického hlediska chovají specificky. I když sémanticky jasně tvoří jednu kategorii, morfologicky se chovají jako tři různé slovnědruhové kategorie: **adjektiva**, **substantiva** a **kvantifikátory**. Velice zajímavá je v této souvislosti skutečnost, že se ve všech jazycích světa vyskytuje tendence, na základě které fungují nižší číslovky spíše jako adjektiva (srov. *jeden stůl, jedna kniha, dvě knihy*) a vyšší číslovky spíše jako substantiva (v ruštině např. *миллион*), a to jak z hlediska morfologického, tak i (morfo)syntaktického.

Jestliže se číslovky chovají jako **adjektiva**, mají stále určité vlastnosti, kterými se zřetelně odlišují od skutečných adjektiv. Jedním důležitým rozdílem je slovosled, např. v jazycích, ve kterých adjektiva následují za substantivy, stojí číslovky vždy před

substantivy. Ani ruština, ani čeština, dokonce ani němčina nejsou jazyky s takovým slovosledem. Platí zde pravidlo, že i když oba elementy – číslovka a adjektivum – předcházejí substantivu, bude vždy číslovka od podstatného jména více vzdálena, srov. *jeden velký stůl* vs. **velký jeden stůl*. V ruštině lze však vyzozorovat tak zvanou inverzi, při které číslovka následuje za podstatným jménem: *рублей пять, часов десять*¹. Obrácením tohoto slovosledu získají uvedené výrazy významový odstín přibližnosti, což se stává zřejmým především při překladu do češtiny: ‚asi pět rublů‘, ‚asi deset hodin‘ [Isačenko 1969]. Dalším rozdílem mezi adjektivními číslovkami a skutečnými přídavnými jmény jsou jejich morfologické vlastnosti. Číslovky se často skloňují jinak než přídavná jména, což se projevuje například chybějícím skloňováním podle rodu numeralií v jazycích, ve kterých přídavná jména rod jasně rozlišují. Na rozdíl od přídavných jmen, která mohou vystupovat i v predikativní funkci, číslovky tuto schopnost nemají, srov. *das Haus ist klein* vs. **das Haus ist acht*. To však neplatí, jak bude dále ukázáno, pro základní číslovky v ruštině a češtině. Kromě toho mohou být adjektiva modifikována, srov. *sehr kleine Häuser* vs. **sehr acht Häuser*, některá i stupňována, což pro číslovky neplatí. Podle R. Zimka (1999) je v této souvislosti podstatné to, že tyto základní číslovky „ – stejně jako adjektiva – jsou u počítaného předmětu shodnými přívlaskty a tato syntaktická funkce je pro ně primární“ [s. 57].

Číslovky, které se chovají jako **podstatná jména**, mohou mít tvary pro množné číslo, například *Millionen* (v němčině se jejich status podstatného jména projeví již v pravopise, neboť se píše s velkým počátečním písmenem). V ruštině a češtině, které jsou z morfologického hlediska o něco bohatší, mají číslovky takového typu plné nominální skloňování s různými tvary pro pády (srov. rus. nom. *миллиард-о*, gen. *миллиард-а*, dat. *миллиард-у*). Ze syntaktického hlediska se substantivní vlastnost těchto číslovek zakládá na skutečnosti, že po nich následující podstatné jméno vystupuje v genitivu plurálu, i když slovní spojení s číslovkou stojí v nepřímém pádu, jak uvádí podrobně Melčuk [1985: 297], srov. *двум миллионам тонн* a *двум вагонам дьнь*. Také to závisí na dalších faktorech, o kterých bude pojednáno níže.

Zde uvedené skutečnosti se týkají pouze jednoho typu číslovek – a sice základních. Tento typ číslovek je doslova považován za „základní“, tj. bezpříznakový. Oproti číslovkám základním jsou všechny ostatní, například druhové nebo řadové číslovky, tak či onak příznakové. Většinou je tato příznakovost realizována pomocí afixů u neoznačené základní číslovky (*pět* – *pět-ka*, *pět-ina*). Příznakovost však může být vyjádřena i komplexnějšími prostředky, jako jsou například speciální podstatná jména, která se používají spolu s číslovkou, např. *jeden-krát*, pokud jsou ovšem takové výrazy považovány za číslovky. Bepříznakový status základních číslovek je podporován i existencí jazyků, které mají *pouze* základní číslovky [Wiese 2003, cit. podle Leko 2009]

Podle Wiese [Wiese 2010] je nutné rozlišit nereferečníální sčítací slova (angl. *count names*) a referenčníální číselná slova (angl. *number names*) (výrazy pro numerativní koncepty). Za nereferečníální sčítací slova lze v češtině považovat například *šest*,

¹ Melčukův (1985) název pro daný jev je количественно-аппроксимативная конструкция.

šestý, šestka, referenciální číselná slova se vyskytují například ve výrazech jako *šest knih, šestý den, tramvaj číslo šest*. Nereferenciálnost sčítacích slov spočívá v tom, že se k ničemu nevztahují, nýbrž slouží pouze jako prostředek k vyjádření číselných kvantit (*šest*), rangů (*šestý*) a značek (číslo *šest*). Referenciální číselná slova slouží k denotaci těchto kvantit, rangů a značek. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že ve výše uvedeném případě jsou referenciální číselná slova a nereferenciální sčítací slova formálně totožná, což platí i pro němčinu a ruštinu, v nichž jsou oba typy většinou reprezentovány stejnou formou. Například v kantonštině se používá slovo *yih* ‚dva‘ při počítání, zatímco tvaru *léuhng* je užíváno jako základní číslovky pojící se se jménem počítaného předmětu (*léuhng gauh* ‚dva koláče‘). Pokud se tato slova liší formálně, týká se to především malých čísel, což je jednak vidět na výše uvedeném příkladu, kde *léuhng* není odvozené od *yih*, a jednak na supletivních tvarech řadových číslovek v češtině (zákl. čísl. *jeden, dva, ale první, druhý*), ruštině (zákl. čísl. *один, два* ale *первый, второй*) a v němčině (zákl. čísl. *eins*, ale *der erste*). Dále se při počítání v ruštině a v češtině místo tvaru *jeden/один* používá *раз/раз*. Pokud se v ruštině počítá *один, два, три...* místo *раз, два, три...* vztahuje se lexém *один* k předmětům (srov. k tomu také Peškovskij 1956).

Na základě uvedených poznatků konstatuje Wiese [Wiese 2010], že konstrukce s číselnými slovy mají gramatické paralely s některými nečíselnými výrazy. Základní číslovky, jež nás zajímají, se chovají podobně jako **kvantifikátory** (jako například v ruštině *мало* nebo *много*), které mohou vystupovat ve stejných souvislostech jako například číslovka *пять: много книг* a *пять книг*. V obou případech podstatné jméno *книга* vystupuje v genitivu plurálu. To znamená, že obě lexikální jednotky patří do stejné třídy – jsou to kvantifikátory, po kterých jak v ruštině, tak v češtině následuje genitiv plurálu. To však neznamená, že všechny základní číslovky jsou kvantifikátory, nehledě na to, že jsou tak v generativní gramatice převážně analyzovány [Leko 2009]. V ruštině a češtině číslovka *jeden/один* vykazuje adjektivní chování, zatímco číslovka *milion/миллион* substantivní. Přiřazení číslovek typu *пять* ke kvantifikátorům platí pouze v přímých pádech, neboť v pádech nepřímých se takové číslovky shodují s podstatným jménem, s nímž se pojí (*с пятью книгами*). V generativní gramatice se z tohoto důvodu vychází ze dvou různých lexémů: *пять*¹ – kvantifikátor a *пять*² – adjektivum.

Také Peškovskij [Peškovskij 1956] vnímá ruské základní číslovky jako lexémy patřící převážně ke dvěma slovním druhům, a sice k přídavným jménům (*один, два, три, четыре*) a k podstatným jménům („vše ostatní“) a zdůvodňuje své domněnky „zvláštnostmi jejich syntaktického užívání“. Základní číslovky *один, два, три, четыре* nazývá Peškovskij [Peškovskij 1956] „hybridním slovním druhem“ a „ideální směsicí“ podstatných a přídavných jmen. Číslovky, které patří k podstatným jménům (tj. číslovky od *пять*), podle něj mají tím, že ztratily tvary čísla a rodu, vybledlou substantivnost a jsou jakýmisi „defektními podstatnými jmény“. Pod pojmem syntaktické užívání chápe Peškovskij jako většina jazykovědců především užívání základních číslovek ve slovních spojeních spolu se substantivy nebo adjektivy.

Slovní spojení se základními číslovkami

„1“

Tato základní číslovka je v ruštině reprezentována lexémy *один, одна, одно*. Ze syntaktického hlediska se chová jako adjektivum, shoduje se v čísle, pádě a rodě se substantivem, ke kterému se vztahuje. Podle Isačenka (1969) je nutno tuto číslovku přísně oddělit od homonymních zájmen: *в одном городе* (zde neurčité zájmeno), *он остался один* ‚zůstal sám‘ (zájmeno určovací), *он остался в одной рубашке* (zůstal pouze v košili – tj. zde má číslovka funkci částice). I německé *ein* není jednoznačné, může vystupovat jako číslovka (*ein Tisch* ‚jeden stůl‘) a jako neurčitý člen (*ein großes Haus* ‚velký dům‘). Co se týče kongruence, též disponuje adjektivním chováním. I číslovka *jeden* má v češtině tři tvary pro jednotlivé jmenné rody: *jeden, jedna, jedno*. Se zvláštním užíváním této číslovky se lze setkat v mluvené češtině, kde může vystupovat jako neurčitý podmět, přičemž zároveň je zájmeno v roli syntaktického substantivu: *jeden nikdy neví* (Cvrček a kol., 2010), v němčině by se tato věta překládala jako typická „manová věta“: *man kann nie wissen*, srov. také ruský příklad *одно другому не мешает*.

U kongruence lze v češtině a ruštině postihnout kongruenci v čísle, přesněji v plurálu. Skutečnost, že zejména slovo, označující jednotlivý předmět, tvoří morfologický tvar pro množné číslo (rus. *одни*, čes. *jedni, jedny, jedna*), lze považovat za pozoruhodnou. Tento tvar plní v obou jazycích různé funkce, tj. formálně se jedná o stejné slovo, které působí jako tvar množného čísla číslovky *jeden*. Podle funkce, kterou tvar plní, se však lze takové interpretaci i vyhybat: používá se ve spojení s pomnožnými substantivy (čes. *jedny nůžky* = jeden kus nůžek, rus. *одни очки* = jeden kus brýlí, tj. číslovka má koncovku množného čísla, ale význam jednotného čísla), se skupinami podstatných jmen (čes. *jedna města, jedni lidé, jedny knihy*) a v neposlední řadě jako neurčité zájmeno (*jedni – druzí*). Podle našeho názoru se daný tvar vyskytuje zejména při porovnávání.

V ruštině a češtině může být číslovka *jeden/один* na rozdíl od němčiny vynechána: *я заплатил рубль* ‚ich habe einen Rubel bezahlt‘, *прийду за минуту* ‚ich komme in einer Minute‘.

‚2‘, ‚3‘, ‚4‘

Číslovka *два, две* má, jak je obecně známo, v ruštině dva rodové tvary: *два* obsluhuje mužský a střední rod a *две* rod ženský, například *два карандаша, два яйца, две марки*. Staré skloňování číslovky *два, две*, které souviselo s duálovým vzorem, bylo ovlivněno pronominálními koncovkami. Genitiv duálu *дву* se zachoval pouze ve složeninách církevněslovanského původu, srov. *двугласный* čes. ‚dvojhlaska‘, v novějších ruských slovech se vyskytuje současný tvar genitivu číslovky *двух-*: *двухэтажный, двухчленный*, čes. ‚dvoupatrový‘, ‚dvočlenný‘. Číslovky *три* a *четыре* ztratily své tvary pro rod, byly však stejným způsobem ovlivněny pronominálním skloňováním, srov. *этих, тех – трёх, четырёх*.

Z hlediska syntaktického je zajímavé, jak se číslovky pojí s podstatnými a přídavnými jmény. Již Isačenko [Isačenko 1969:528] konstatuje, že spojení číslovek

два/две, три, четыре a také číslovky *обе, оба*² je „v rozporu s jinak v ruštině běžnými pravidly kongruence resp. rekce.“ Jako hlavní vlastnost uvádí to, že spojení „číslovka + podstatné jméno“ se v přímých pádech chová jinak než v nepřímých. V nepřímých pádech jsou užívána podstatná jména ve spojení s uvedenými číslovkami v množném čísle a shodují se s podstatným jménem v pádě: *gen. из двух комнат, dat. к двум комнатам, instr. с двумя комнатами* atd. Na druhé straně se číslovky *два, две, три, четыре* pojí v nominativu a akuzativu s tvarem podstatného jména, který je ve školních mluvnicích označován za genitiv jednotného čísla: *два стола, две комнаты, три пера, четыре окна*. Co se týče syntaktické stavby takových konstrukcí, vyskytuje se několik nejednoznačných momentů. První otázka se týká syntaktického vztahu mezi oběma členy, tj. který z nich je řídicím a který řízeným členem. V nepřímých pádech je číslovka podstatnému jménu podřízena, shoduje se s ním. V konstrukcích jako *два стола* je z formálního hlediska obtížné považovat *стола* za řízený člen. Na druhé straně je těžké považovat číslovku za člen řídicí, ačkoli například zájmena, jež se vztahují ke konstrukci „číslovka + podstatné jméno“ jako k celku, se jasně shodují s číslovkou a ne s podstatným jménem: *эти два стола, мои две комнаты*. Vzhledem k sémantickým vztahům se vyskytuje názor, že podstatné jméno je řídicím členem. Pro Šachmatova jsou spojení typu *два стола* jednotkami syntakticky dále nedělitelnými³, u nichž není ani řídicí ani řízený člen rozlišen. Kopečný [Kopečný 1953, cit. podle Isačenko 1969] přiděluje číslovkám v takových konstrukcích funkci „kvantitativního atributu“. Tento pohled se v české tradici prosadil, jak je zřejmé z PMČ [PMČ 1995]: „*Shodný přívlastek, který charakterizuje kvantitu osob, zvířat nebo věcí pojmenovaných substantivem, se nazývá přívlastek kvantitativní. [...] Povahu kvantitativního přívlastku mají také základní číslovky typu пět, šest...*“ (s. 498). V této souvislosti lze upozornit na to, že u Grepla a Karlíka (1998) lze nalézt zcela specifické postavení přívlastku mezi větnými členy. Je to komponent definovaný ryze syntakticky jako člen větného členu vyjadřovaného substantivem: *Mladý muž se usmíval* (součást podmětu); *Viděl muže z Brna* (součást komplementu); *Rozvedla se kvůli mladému muži* (součást adjunktů). Na rozdíl od komplementů a adjunktů je přívlastek členem **nominální skupiny**. Nominální skupina je výraz, jehož základem je podstatné jméno nebo substantivní zájmeno. Nominální skupina může plnit ve větě různé syntaktické funkce (komplement, adjunkt, jmenná část přísudku). S výše uvedenými skutečnostmi lze dát do souvislosti názor, vyskytující se v generativní mluvnicí

² Status číslovky *обе, оба* není jednoznačný. Pro Isačenko (1969) je jasné, že tato číslovka patří k tzv. hromadným (tj. druhovým) číslovkám typu *двое, трое, четверо*, a to je zdůvodněno tím, že se jako číslovky tohoto druhu pojí jen s určitým typem substantiv. Přitom se ale zdůrazňuje její morfologické chování totožné s číslovkou *два* (rozlišuje rod) a její nespojitelnost s pluráliá tantum (je možné říci *двое очков*, v případě *оба* se musí opisovat: *обе пары очков*). Melčuk (1985) se snaží s odkazem na to, že někteří vědci to vidí jinak, zdůvodnit, proč by lexém *оба* měl být považován za číslovkou a ne za jiný slovní druh. On nepovažuje *оба* ani za základní, ani za druhovou číslovku, ale deklaruje ji na základě syntaktických vlastností za zvláštní případ. Pro hromadné/druhové číslovky (rusky *сборительные числительные*) zvolil termín *лично-количественные*.

³ «Они составляют одно грамматическое целое, ибо с точки зрения современного языка форма родительного падежа не может зависеть от числительного» [Šachmatov 1925].

a říkající, že základní číslovka může být považována za základ nominální skupiny (srov. k tomu Leko 2009), což se týká zejména číslovky *jeden/один* (ale nejen jí).

Pád počítaného předmětu ve slovních spojeních se základními číslovkami

Také z morfologického hlediska jsou takové konstrukce nejednoznačné. Tvar *стола* je v daných spojeních vykládán jako forma již zaniklého duálu. Se zánikem duálu musel být tento tvar reinterpretován, a jelikož je většinou totožný s tvarem genitivu jednotného čísla, byl za něj také považován. To však není tak snadné, píše Isačenko [Isačenko 1969], odvolává se na různé vědce a uvádí hned několik důvodů proti takovému úhlu pohledu. Prvním důvodem jsou rozdíly u některých podstatných jmen mužského rodu, kde se tvary genitivu jednotného čísla liší přízvukem od tvarů, které následují po číslovkách, například *шар* – gen. sing. *шара́*, ale *два шара́*, *час* – gen. sing. *ча́са*, ale *два ча́са*. Podle Vinogradova (cit. podle Isačenko 1969) nelze ze sémantického hlediska považovat tvar *стола* ve spojení *два стола* za genitiv jednotného čísla v systému živých pádových tvarů a funkcí. Isačenko [1969: 529] to interpretuje tak, že integrace ‚genitivu adnumeralis‘ do ruského systému pádů „by se rovnalo znásilnění skutečností“⁴. Pokud je podstatné jméno v takové konstrukci determinováno přídatným jménem, vyskytuje se toto přídatné jméno vždy v množném čísle, a to buď v nominativu/akuzativu množného čísla (*две новые книги*) anebo genitivu množného čísla (*две новых книги, два новых стола*).

Pokud souhlasíme s tvrzením Leka [2009], který zkoumá syntaktické vlastnosti bosenských číslovek z hlediska generativní gramatiky, je možná ještě další interpretace výrazu *стола*. Situace v ruštině a bosenštině je podobná v tom, že syntaktické chování číslovek *два/две, три, четыре* (bos. *dva/dvije, tri, četiri*) je stejné, tj. vyskytují se ve stejném syntaktickém okolí. Číslovka *dva/dvije* je kvantifikátor, který je reprezentován dvěma lexikálními jednotkami: *dva a dvije*. Podstatná jména následující po *dva/dvije* jsou tvarově stejná jako po *tri, četiri*, však ne pro *pet* nebo *šest*. Na základě toho dochází Leko [2009] k závěru, že gramatické číslo těchto substantiv není duál, ale paukál⁵, který by byl v ruštině vyjádřen tvarem se zvláštním přízvukem.

Vinogradov odmítá považování tvaru *стола* za genitiv a propaguje uvedení tvaru s názvem „счетная форма“, tj. tvarem s numerickou sémantikou, Isačenko [1969] navrhuje termín *numerativ*, který lze ve stejné souvislosti nalézt i u jiných autorů (Meščuk 1985: „adnumerativ“).

Jinak (než např. Isačenko [1969] nebo Vinogradov) vyčleňuje Meščuk [Meščuk 1985] zvláštní tvar s numerickou sémantikou i pro jména počítaného předmětu následující po základních číslovkách od pěti výše a dokonce těmto tvarům – i když velice opatrně – přiřazuje určitou produktivnost. Meščukův pohled na daný fenomén stojí za zmínku, neboť obsahuje poměrně přesné údaje o užívání daných tvarů. Jak již bylo řečeno, tvary s numerickou sémantikou existují nejen v jednotném čísle (u

⁴ „Mit anderen Worten: die Einführung eines ‚Genitivus adnumeralis‘ in die russische Kasuslehre würde einer Vergewaltigung der Tatsachen gleichkommen“. (Isačenko 1969).

⁵ Řídký typ jmenného čísla označující málo početnou mnohost. (Čermák 2001).

„nižších“ číslovek), ale i v čísle množném (u „vyšších“ číslovek). Meľčuk [1985] uvádí příklady ruských substantiv, která se v množném čísle vyskytují ve zvláštním tvaru s numerickou sémantikou, jenž se odlišuje od genitivu množného čísla: *люди* gen. mn. č. *людей* vs. tvar s numerickou sémantikou *человек, цветы* – gen. mn. č. *цветов* tvar s numerickou sémantikou *цветков, килограмм – килограммов* vs. *килограмм*, dále *микрон, ом, бит* aj. Produktivnost tvarů s numerickou sémantikou vyplývá z pojmenování výše uvedených měrných jednotek typu *микрон*. Kromě toho se tvary s numerickou sémantikou jednotného a množného čísla ještě dále dělí: ta substantiva, která mají zvláštní tvar s numerickou sémantikou v jednotném čísle, nemají tvar s numerickou sémantikou v čísle množném a naopak. Toto ale neumožňuje zkoumat tvary s numerickou sémantikou různých čísel souborně, tedy jako jeden tvar, u něhož není vůbec rozlišeno číslo: u „nižších“ číslovek se vyskytují pouze tvary s numerickou sémantikou jednotného čísla a u „vyšších“ jen tvary s numerickou sémantikou čísla množného. Dále Meľčuk (1985) rozlišuje dva základní typy tvarů s numerickou sémantikou: silné – ty, které za určitých podmínek nelze zaměnit genitivem, a slabé – ty, které lze vždy volně zaměnit formou genitivu. Jako příklady substantiv, která se vyskytují v silné formě, jsou uvedeny *час, люди*; jako příklady substantiv, která se vyskytují ve slabé formě *ряд, килограмм: два часа <*часа>, пять человек <*людей>; два ряда, <ряда>, пять килограмм <килограммов>* (srov. Meľčuk [1985: 430]. Podle našeho názoru se zdá, že tvar s numerickou sémantikou jednotného čísla se týká pouze slov mužského rodu, skládajících se v nominativu z *jedné slabiky* (*час, ряд, стол, шаг* aj.).

Také v českých mluvnicích se vyčleňuje numerativ, který se používá u číslovek **od pěti výše** a je formálně totožný s genitivem množného čísla [PMČ 1995], podrobněji se k tomu vyjadřují Grepl a Karlík [Grepl; Karlík 1998: 229] a to tak, že „*jen jako důsledek historického vývoje, tedy bez sémantické motivace, se místo Nom užívá v podmětu genitivu numerativního, kterým se vyjadřuje počítaný objekt po určitých číslovkách od pěti výše a po číslovkách neurčitých*“ (...).

Další zajímavou otázkou je v této souvislosti kongruence predikátu s podmětem ve větách, ve kterých vystupují jako podmět slovní spojení s číslovkami *два/две, три, четыре*. Predikát může vystupovat jak v množném čísle, tak v jednotném čísle středního rodu: *До города оставалось три версты. Эти три версты тянулись бесконечно долго*. Isačenko [1969] píše, že volba tvaru slovesa závisí na různých faktorech. Tvaru množného čísla se dává přednost, když se vyjadřuje „aktivní příznak podmětu“ nebo když je podmět blíže určen pomocí zájmena. Tvar středního rodu jednotného čísla se užívá, když se podmět „nevyjadřuje aktivně“ (Isačenko 1969). To je však pouze tendence. V souvislosti s generativním modelem to znamená, že tyto číslovky mají syntaktické vlastnosti adjektiv (sloveso v plurálu) a kvantifikátorů (neuter default). Valgina (2003) konstatuje, že lze v ruštině od 70. let pozorovat některé změny týkající se shody predikátu podle formy a podle smyslu. Podle ní se rozšiřuje shoda podle smyslu na úkor shody podle formy, což platí také o shodě predikátu s číslovkami. Valgina (2003) uvádí příklady *Тридцать один студент прибыл* a *Тридцать один студент встретились перед началом сессии*, přičemž „sloveso **встретились** ukazuje na současnost děje“.

Pohled na dané konstrukce s adjektivním atributem (tj. číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno) také neusnadňuje její syntaktickou interpretaci. Jak je známo, adjektivní atribut se v takových spojeních vyskytuje vždy v plurálu, a to buď v genitivu množného čísla (*два больших стола*), nebo ve tvaru nominativu/akuzativu množného čísla (*два большие стола*), který je však na ústupu. To lze interpretovat jako tendence těchto typů číslovek přijímat více a více vlastností kvantifikátoru.

Zájmena, stojící před konstrukcí s číslovkami *два/две, три, четыре*, vystupují v přímých pádech v množném čísle: *эти два дома, наши три комнаты, каждые две минуты*. Totéž platí i pro některá přídavná jména, která se významově přibližují zájmenům, například *последние два года, первые три дня*. Tyto tvary mohou následovat i po číslovce: *две первые комнаты были темны*.

V češtině je situace týkající se spojení číslovek *dva/dvě, tři, čtyři* se substantivem na první pohled mnohem jednodušší (všeobecně lze konstatovat, že je v českých mluvnicích této tematice věnováno mnohem méně prostoru než v ruských). Podle PMČ [1995] se užívá po číslovkách *dva/dvě, tři, čtyři* nominativ množného čísla. V nepřímých pádech se číslovka shoduje s podstatným jménem (chová se jako adjektivum), například nom. *tři kluci*, gen. *tří kluků*, dat. *třem klukům*. To však platí pouze v případech, že uvedené číslovky nejsou součástí složené číslovky (tady má zase ruština jasná pravidla: podstatný je poslední člen složené číslovky). PMČ [1995] uvádí, že v rámci složených číslovek se mohou vyskytovat následující tvary: *dvacet jeden chlapec, dvacet jedna chlapců, jednadvacet chlapců; dvacet tři chlapci, dvacet tři chlapců, třiadvacet chlapců*. Co se týče otázky, v jakých kontextech se uvedené tvary užívají, musí to být ověřeno v *Mluvnici současné češtiny* [Cvrček a kol. 2010: 231]. Velice zajímavé jsou číslovky 21–99, které mají na místě jednotek číslovku *jedna* a mohou mít dvě podoby: nevyjadřující rod (*třicet jedna mužů/žen/měst*) nebo řidčeji rod zachycující (*třicet jeden muž/třicet jedna žena/třicet jedno město*). Trávníček [Trávníček 1951] považuje za správné pouze tvary s vyjádřeným rodem, avšak vývoj jde jednoznačně takovým směrem, že se prosazují tvary, u nichž rod rozlišen není. Výskyt genitivu plurálu resp. numerativu po složených číslovkách typu *třicet jedna* indikuje jejich transformaci ve kvantifikátory a tím pádem i jejich chápání jako jednotek.

Kongruence predikátu v konstrukcích obsahujících základní číslovky *dva/dvě, tři, čtyři* je v češtině oproti ruštině jednoznačná: Rozhoduje tvar podstatného jména, s kterým se číslovka pojí. Stojí-li podstatné jméno v nominativu množného čísla, shoduje se s ním predikát také v plurálu: *пришли три kluci*.

počínaje 5'

V ruštině se jméno počítaného předmětu pojí se základními číslovkami od *пять* nahoru ve tvaru, který je většinou totožný s genitivem množného čísla, vyskytují se však i tvary odlišné od genitivu množného čísla, které lze považovat za projev zvláštního tvaru s numerativní sémantikou (viz výše) – pokud stojí číslovka v přímém pádě. Přísudek se shoduje v jednotném čísle, což těmto číslovkám v přímých pádech přiděluje vlastnost kvantifikátoru. Ve spojení s podstatným jménem v nepřímém pádě se však číslovka chová jako adjektivum, tj. shoduje se s ním ve svých kategoriích.

V češtině se podstatné jméno, které se pojí se základními číslovkami od *pěti* výše, vyskytuje v přímých pádech ve tvaru genitivu plurálu neboli numerativu, v nepřímých pádech se číslovka shoduje s podstatným jménem, srov. nom./ak. *pět stolů*, gen. *pěti stolů*, dat. *pěti stolům* atd. Číslovka *pět* je v takových spojeních považována za kvantitativní přívlastek. Predikát se vyskytuje v nominativu jednotného čísla středního rodu, srov. *přišlo pět studentů*, což platí i v případě oddělení podstatného jména od číslovky (číslovka se tak stane kvantitativním příslovečným určením): *studentů přišlo pět*. V této souvislosti se mohou také vyskytovat kolísání, která jsou popsána například v PMČ [1995: 419], v kapitole zabývající se tak zvanou shodou podle formy a shodou podle smyslu. V případě *přišlo pět studentů* se u shody podmětu s predikátem jedná o shodu podle formy. Shoda podle smyslu se vyskytuje ve větě takových souvětí, v jejichž první větě je „podmět vyjádřen spojením s výrazem vyjadřujícím množství“: *Deset studentů přišlo hned po obědě a pomohli nám s přestěhováním knihovny*. Může tu však být i shoda podle formy: *Deset studentů přišlo hned po obědě a pomohlo nám s přestěhováním knihovny*.

Větší pozornost lze na tomto místě věnovat „vyšším“ číslovkám typu *тысяча*, *миллион*, *миллиард* a jejich syntaktickým vlastnostem, které se v mnohém liší od vlastností jiných, resp. nižších číslovek a přispívají v neposlední řadě k názoru, že se jedná spíše o substantiva než o číslovky. Jako morfologický argument pro považování lexému *миллион* za substantivum lze uvést skutečnost, že má rod a také číslo (což pro číslovky neplatí). I syntakticky se chová stejně jako substantivum, jak Meřčuk [1985] demonstruje pomocí následujících paradigmat:

<i>два миллиона тонн</i>	<i>две тонны</i>	<i>два вагона дынь</i>
<i>двух миллионов тонн</i>	<i>двух тонн</i>	<i>двух вагонов дынь</i>
<i>двум миллионам тонн</i>	<i>двум тоннам</i>	<i>двум вагонам дынь</i>
<i>двумя миллионами тонн</i>	<i>двумя тоннами</i>	<i>двумя вагонами дынь</i>

Z toho vyplývá, že *миллион* se spojuje se jménem počítaného předmětu přesně takovým způsobem jako libovolné jiné podstatné jméno vyjadřující množství, počet, velikosti atd. Také při tvoření složených číslovek se *миллион* chová jako podstatné jméno⁶ (slovní spojení typu *два миллиона*, *двух миллионов*, *двум миллионам* jsou analogická spojení typu *два километра*, *двух километров*, *двум километрам* a liší se od spojení číslovek typu *двадцать два*, *двести семьдесят три* aj. Dále, *миллион* se nemůže vyskytovat v inverzních konstrukcích vyjadřujících přibližnost počtu typu *рублей пять*: **исстратили рублей миллион <по миллиону>*, **исстратили рублей два миллиона <миллиона два>*. Nakonec lexému typu *миллион* nemají jednu skutečně podstatnou vlastnost číslovek, které se mohou pojit pouze s počítatelnými předměty, majícími množné číslo a dovolujícími kvantifikaci. *Миллион* se může vyskytovat i v následujících kontextech: *три миллиона пехоты*, přičemž není možné říci **двадцать пять пехоты*, neboť *пехота* patří ke jménům nepočítatelným. Přísudek se s *миллион* shoduje buď v jednotném čísle středního rodu, nebo jednotném čísle mužského rodu: *В этих цистернах помеща-*

⁶ To je důležité, neboť jeden z argumentů proti chápání lexému *миллион* jako podstatného jména je jeho schopnost účastnit se tvoření složených číslovek.

лось (помещался) миллион тонн нефти. Na podobnou situaci narazíme u shody přívlastku předcházejícího číslovce, například *Эти миллион детей* vs. *этот миллион детей*, přičemž se podle Melčuka [1985] v prvním případě zdůrazňují spíše děti a v druhém spíše *milíon*, tj. počet těchto dětí.

Závěr

Jak vyplývá z analyzovaných materiálů, je velice obtížné strukturovat a zobecnit poznatky o základních číslovkách v ruštině a v češtině, což je v neposlední řadě zkomplikováno odlišnými lingvistickými tradicemi obou proveniencí. To se projevuje např. i v tom, že ruská jazykověda pracuje v syntaxi s termínem slovního spojení, který v takové podobě v českém chápání syntaxe neexistuje, proto je v některých případech obtížné hledat příklady obdobné ruským. Obecně lze konstatovat, že ruské analyzované materiály jsou o něco bohatší než české, avšak české působí podle našeho názoru strukturovaněji (základní číslovky jsou zde syntakticky považovány za kvantitativní přívlastek). Dále je evidentní, že zatímco v české jazykovědě došlo k jakési shodě, co se morfosyntaktického chování základních číslovek týče, oproti tomu je v ruské gramatické tradici po celá léta patrná jistá polemika počínající již nejpodstatnějšími otázkami kolem číslovek.

POUŽITÁ LITERATURA:

- ČERMÁK, F. (2001): *Jazyk a jazykověda*. Praha: Karolinum.
 CVRČEK, V. a kol. (2010): *Mluvnice současné češtiny. Jak se píše a jak se mluví*. Praha: Karolinum.
 FLÍDROVÁ H., ŽAŽA S. (2005): *Sintaksis ruského jazyka v srovnání s češtinou*. Olomouc: Univerzita Palackého.
 ISAČENKO, A.V. (1969): *Russische Sprache der Gegenwart*. Teil 1. Formenlehre. Halle a.d. Saale: Verlag Max Niemeyer.
 KARLÍK, P.; GREPL, M. (1998): *Skladba češtiny*. Olomouc: Votobia.
 KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (1995): *Příruční mluvnice češtiny*. Brno: Nákladatelství Lidové Noviny.
 KUBÍK, M. (1982): *Russkij sintaksis v srovnání s češtinou*. Praha: Statní pedagogické nakladatelství.
 LEKO, N. (2009): *The Syntax of Numerals in Bosnian*. Mnichov.
 MELČUK, I.A. (1985): *Poverchnostnyj sintaksis russkich číslovych vyražennij*. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 16.
 PEŠKOVSKIJ, M. .A. (1956): *Russkij sintaksis v naučnom osveščennii*. Moskva: Prosveščenie.
 PETR, J. (1986): *Mluvnice češtiny 2*. Tvarosloví. Praha: Academia.
 ŠACHMATOV, A. A. (1925): *Sintaksis ruskogo jazyka. Učenie o predložennii i slovosocetanijach*. Leningrad: Akademija nauk SSSR
 TRÁVNÍČEK, F. (1941): *Stručná mluvnice česká*. Praha: Borový.
 WIESE, H. (2010): *Numbers, Language and the Human Mind*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 ZIMEK, R. (1999): *Sootnošenie členov predložennija i častej reči*. In: TOŠOVIĆ B.: Die grammatischen Korrelationen. Graz: GraLis.

НАТАЛИЯ КУБОВА

Чехия, Оломоуц

ПРОБЛЕМАТИКА ПОРЯДКА СЛОВ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕВОД

ABSTRACT:

The article deals with the word order in Czech and Russian. It illustrates the most common mistakes in the word order in Russian (tendency of keeping word combinations, contact placement of words that are able to make a word combination etc.) and in Czech (placement of enclitics, the connection of subordinate clause starting with *který* to the main clause etc) and shows the mistakes made in translation.

KEY WORDS:

Word order – mistakes in word order – topic/comment – keeping of word combination – break up the word combination – subordinate clause – enclitic.

Несмотря на то, что роль порядка слов в организации словосочетаний неоспорима, многие лингвисты недооценивают его значение в организации предложений. При этом широко распространенное мнение о свободном порядке слов в русском и чешском языках можно считать главной причиной ошибок при организации предложений. Вопросу порядка слов в русском языке уделяется относительно мало внимания по сравнению с другими языковыми аспектами, в учебных пособиях и во время обучения языку в школах ему практически не отводится времени. Результатом данной тенденции является тот факт, что не только многие студенты делают ошибки в порядке слов, но и их преподаватели, интуитивно чувствуя неправильный порядок слов, не способны объяснить, в чем эти ошибки заключаются.

В транслатологическом аспекте данная проблематика становится особенно актуальной, поскольку здесь вероятность совершения ошибки увеличивается – возможны ошибки в порядке слов не только родного языка, но и его влияние на язык перевода, проявляющееся особенно сильно, прежде всего, потому, что многие студенты и начинающие переводчики даже не отдают себе отчета в том, что влияние в этой области возможно.

Целью данной статьи стало исследование наиболее типичных ошибок в порядке слов русского и чешского языков. В качестве материала для исследования послужили в некоторых случаях устные, но в большинстве случаев письменные высказывания носителей языка, а также студентов, изучающих русский и чешский язык как иностранный. В качестве образцов устной речи послужили выпуски новостей и комментарии российского телевидения. Примеры ошибок в письменной речи были собраны из сочинений студентов русистики, а также русскоговорящих студентов, изучающих чешский язык. Кроме того, в статье анализируется, какие отличия порядка слов в русском и чешском языках наиболее влияют на перевод, часто становясь причиной ошибок.

Типичные ошибки в порядке слов в русском языке

Что касается русского языка, особенно распространенными О. Б. Сиротинина называет **ошибки, совершенные под действием тенденции сохранять словосочетания**. В случае столкновения двух противоположно действующих грамматических закономерностей, иногда может побеждать тенденция сохранения более привычного, распространенного или более тесного словосочетания [Сиротинина 1965: 159–160]:

Это популярный хит во всем мире.

Мы видим удобное платье для ношения в городе.

Спутник не вышел на орбиту из-за неправильно заложенной программы в разгонный блок.

В данных случаях сталкиваются две грамматические тенденции: тенденция сохранить сочетание определения с определяемым словом (*популярный хит, удобное платье, заложенная программа*) и тенденция сохранить сочетание прилагательного с существительным (*популярный во всем мире; удобное для ношения в городе; заложенная в разгонный блок*). При этом связь определения и определяемого слова более сильная, она действует и на расстоянии, поэтому в данном случае должно быть сохранено сочетание прилагательного с существительным (*хит, популярный во всем мире; платье, удобное для ношения в городе; программы, неправильно заложенной в разгонный блок*). Подобные ошибки весьма типичны для устной речи, о чем свидетельствует и вид источника, из которого мы черпали данные примеры – программы, транслированные по телевидению, однако, например, последняя фраза была взята из выпуска новостей, так что, по сути, является репродуцированной письменной речью.

Еще более проблематичны сочетания трех словосочетаний:

Театр позволяет почувствовать зрителям особую атмосферу. (Этот и следующие примеры взяты из сочинений студентов русистики.)

Нередки также **ошибки в порядке слов, проявляющиеся в разрыве словосочетаний**, в частности, словосочетаний неопределенного местоимения с прилагательным или частицы со словом, к которому она относится:

Книги всегда что-то приносят интересное.

Особенно это хорошо видно в его поздних романах.

Правильным был бы порядок слов *что-то интересное, особенно хорошо это видно...*

О. Б. Сиротинина подобные ошибки объясняет небрежностью и пренебрежением к грамматической роли порядка слов, а также неверным представлением о свободе порядка слов в русском языке.

Кроме того, неверный порядок слов может привести к двусмысленности высказывания, причиной которой становится **контактное расположение слов, которые грамматически способны образовать словосочетание:**

Такие фильмы о войне в мировом кинематографе являются частью явления.

На просмотрах зрителей больше всего интересуют американские фильмы.

В устной речи непониманию приведенных высказываний препятствует интонация, однако в письменной речи подобное контактное расположение слов может привести к возникновению «ложных» словосочетаний типа *война в мировом кинематографе, просмотры зрителей* и т. д.

В данном контексте Н. С. Валгина говорит о «неоправданном инверсионном порядке», искажающем смысл высказывания, при этом под термином *инверсия* она подразумевает не только случаи необычного расположения темы и ремы, но и нарушения строго закрепленного порядка расположения компонентов словосочетания в составе предложения [Валгина 1978: 153].

В некоторых случаях определенный порядок слов может стать причиной **неоднозначности высказывания**, поэтому такого порядка необходимо избегать:

В Смоленской области произошла авария.

Автобус, перевозивший 48 пассажиров, перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем.

На перекрестке автобус протаранил камаз. (Пример взят из программы новостей русского телевидения.)

Н. С. Валгина указывает, что в данном случае должно проявиться грамматическое значение порядка слов: омоформы *именительный – винительный* обычно различаются порядком их расположения, *именительный падеж*, как правило, располагается на первом месте [Валгина 1978: 154–155]. Однако, например, А. М. Пешковский описывает случаи, при которых возможен обратный порядок слов, позволяющий расположение *винительного падежа* на первом месте. При этом *винительный падеж* несет логическое ударение [Пешковский 1956: 52]. С ним нельзя не согласиться – подобный порядок слов не является редкостью прежде всего в разговорной речи, однако, под ее влиянием, все чаще появляется и в письменной. Поэтому в данном отрывке невозможно определить, что является подлежащим, а что дополнением. Этого мы не можем сделать, даже опираясь на теорию актуального членения, поскольку в процитированном отрывке как *автобус*, так и *камаз* уже упоминались, поэтому непонятно, что из них в последнем предложении является темой, а что — ремой.

В таком случае (подлежащее и дополнение совпадают в роде и числе, каждое из них в данном контексте может выступать как в *именительном падеже*, так и в *винительном*), недостаточно скорректировать порядок слов, необходимо изменить само предложение:

Автобус врезался в камаз.

Автобус был протаранен камазом и т. д.

Типичные ошибки в порядке слов в чешском языке

Что касается чешского языка, в нем, по нашему мнению, наибольшее количество затруднений вызывает **размещение энклитик**, т. е. возвратного *se* и *si*, личных местоимений, глагольных форм типа *jsem, jsi, bych, bys* и т. д. Согласно грамматической норме чешского языка они должны быть расположены за первой частью предложения, несущей на себе фразовое ударение [Gebauer, Ertl 1926: 56–57]. Кажущейся простоте данного правила противостоит неоднозначность понятия «первая часть предложения, несущая фразовое ударение». Например, Л. Углиржова указывает, что такой частью может быть одно слово или выражение, представляющее собой член предложения; член предложения с зависимыми словами; придаточное предложение; подчинительный или сочинительный союз (кроме противительных союзов *ale, avšak, nýbrž, kdežto*); член предложения со следующим за ним вводным словом и т. д. [Uhlířová 1987: 83–84]. Однако даже это правило не действует во всех случаях и тогда энклитики могут менять свое место в предложении, оставляя свое привычное второе место (например, в поэтических текстах, в неподготовленных заранее устных выступлениях). Ошибки в данном правиле не являются редкостью:

Je zajímavé, že francouzští katolíci a protestanti se poprvé setkali a hovořili tvář v tvář o náboženských tématech na ruské půdě. (Данный пример взят из перевода книги Николая Бердяева «Самопознание. Опыт философской автобиографии», сделанного Маркетой Валковой.)

Еще более проблематичной является **организация двух и более энклитик** в одном предложении. Гавранек указывает, что их порядок традиционно определен, например, формы глагола *být* стоят перед остальными энклитиками, возвратные *se* и *si* следуют за ними, дательный падеж личных местоимений стоит перед винительным падежом [Havránek, Jedlička 1981: 352], т. е. *bych se, se mi, tu ho, jim to* и т. д. Тем не менее, при употреблении нескольких энклитик нередки ошибки:

Divákům ale to se nelíbilo.

Mohla bych to vám převyprávět... (Примеры взяты из сочинений студентов, изучающих чешский язык.)

Следующим случаем, вызывающим затруднения при организации предложения, является **присоединение придаточного предложения определительного**, начинающегося словом *který* . Согласно правилам, такое придаточное предложение должно размещаться непосредственно за словом, которое оно характеризует. Однако в тех случаях, когда данное слово отделено от придаточного предложения зависимыми словами, совпадающими с ним вроде и числе, может быть непонятно, которое именно слово определяется этим придаточным предложением. Л. Углиржова указывает, что наиболее часто это касается несогласованного определения, выраженного именем существительным [Uhlířová 1987: 31–32]:

Již jsem říkal, že celý záměr mé knihy O učení člověka, která je možná nejsystematičtější z mých knih, mě napadl najednou, když jsem byl na baletu Ďagileva, kte-

rý neměl žádnou souvislost s tématem knihy. (Данный пример взят из перевода книги Николая Бердяева «Самопознание. Опыт философской автобиографии», сделанного Маркетой Валковой.)

В данном случае читатель не всегда может понять после первого же прочтения, что имеется в виду: с темой книги Бердяева не был связан балет или Сергей Дягилев? Необходимо заметить, что подобные ошибки часто встречаются и в русском языке, прежде всего в устной речи.

Как в чешском, так и в русском языке, большое количество ошибок вызывает **неакцептирование роли актуального членения в предложении**, собственно данное и новое немотивированно меняются местами:

Alespoň v případě, že si nevzpomenete na poslední chvíle, že vlastně na festival chcete jet. (Пример взят из сочинения студентов, изучающих чешский язык.)

В данном предложении автор, говоря о необходимости своевременного приобретения билетов на фестиваль, ошибочно размещает на последнем месте рему, *jet*, тем самым делая на ней ударение. Речь, однако, не идет о людях, желающих именно приехать на фестиваль, а не прийти, прилететь, приплыть и т. д., а прежде всего о желании посетить фестиваль, поэтому на последнем месте должно быть *chcete*.

Эртл указывает на еще одну типичную ошибку в порядке слов чешского языка: ошибочное размещение в чешском языке **выражений, не относящихся к предлогу, между данным предлогом и словом**, к которому предлог относится [Gebauer, Ertl 1926: 62]:

Film je natočen podle typického pro celou západní kinematografii syžetu. (Этот и следующие примеры взяты из сочинений студентов, изучающих чешский язык.) Удачнее был бы вариант *podle syžetu typického pro celou západní kinematografii*.

Следующей ошибкой, нередко появляющейся в чешском порядке слов, является **разрыв определяющего оборота**, при котором определяемое слово находится между словами, которые его определяют, как правило, причастием с зависимыми словами [Uhlířová 1987: 33–34]:

Součástí recenze je i přeložená zvuková stopa do ruštiny.

В данном случае причастный оборот *přeložena do ruštiny* был «разорван» словами *zvuková stopa*, и, таким образом, был нарушен принцип смысловой и синтаксической связанности членов предложения. Более удачным вариантом был бы следующий порядок слов:

Součástí recenze je i zvuková stopa přeložená do ruštiny.

Отличия в порядке слов русского и чешского языка

Работ, посвященных сравнительному анализу порядка слов в чешском и русском языках, относительно немного. Нам удалось найти три: первая из них, *Problémy českého a ruského slovosledu* Г. Кржижковой, была опубликована в 1953 г.; следующая, *K rozdílům mezi českým a ruským slovosledem*, написанная П. Адамецем – в 1956 г.; кроме того, глава, посвященная сравнению порядка слов в данных языках имеется в учебнике *Синтаксис русского*

языка в сопоставлении с чешским, авторами которого являются Г. Флидрова и С. Жажа.

Что касается статьи **Г. Кржижковой**, необходимо заметить, что это была первая работа, занимающаяся данной проблематикой. Статья концептуализирована следующим образом: автор рассматривает размещение различных членов предложения в разных его частях и оценивает, насколько типично такое размещение для русского и чешского языка. Хотя в статье упоминаются факторы, влияющие на порядок слов (актуальное членение предложения, ритмическая организация предложения, стремление к отличению слов на основе их конкретного значения [Křížková 1953: 281]), более подробно они не рассматриваются, автор отдает предпочтение анализу порядка слов в чешском и русском языках с точки зрения синтаксической структуры предложения.

Г. Кржижкова приходит к заключению, что сказуемое в русском языке бывает на первом и на последнем месте в предложении гораздо чаще, чем в чешском; после обстоятельства, находящегося на первом месте в предложении, в русском языке обычно идет подлежащее, а потом сказуемое, в то время как в чешском – наоборот, в остальных случаях для русского языка типична препозиция обстоятельства перед сказуемым, в чешском же языке оно чаще находится в постпозиции после сказуемого; несогласованное определение в русском языке чаще выступает в препозиции перед существительным, чем в чешском, а местоименное определение в постпозиции [Křížková 1953: 281–289].

Необходимо заметить, что свои выводы Г. Кржижкова делает, опираясь на сравнение текстов, отличающихся по стилям. Так, материал ее исследований в русском языке полностью относится к разговорному стилю, при этом часто искусственно стилизованному под разговорность (например, в произведениях Шолохова и Горького). Остается вопросом, насколько верно такие тексты отображают реальную языковую ситуацию и могут ли они служить источником для подобных выводов.

В конечном итоге Х. Кржижкова констатирует, что предложение в русском языке является более динамичным, чем в чешском, логическое ударение в нем зафиксировано в гораздо меньшей степени. Данный факт необходимо помнить прежде всего переводчикам с русского языка на чешский, чтобы в чешском переводе не злоупотреблять средствами динамичности.

П. Адамец анализирует отличия между порядком слов в русском и чешском языке, прежде всего, с точки зрения влияния основных факторов: актуального членения предложения, принципа смысловой и синтаксической связанности членов предложения, ритмического принципа, уделяя наибольшее внимание первому из них. При этом он подчеркивает, что, в связи с многогранностью данной проблематики, в данной области невозможно установить твердые, обязательные в любой ситуации правила. Адамец старается избегать использования данного термина, он говорит скорее о определенных тенденциях [Adamec 1956: 180–181].

Адамец, в сущности, делает некоторые выводы, сходные с заключениями предыдущего автора, Г. Кржижковой. В качестве главных отличий порядка

слов в русском языке от чешского он называет более частое использование субъективного порядка слов в русском языке, положение ремы в нем менее фиксировано, чем в чешском, а смысловая и синтаксическая связанность отдельных членов предложения проявляется сильнее, в то время как фонетический принцип, наоборот, проявляется слабее, чем в чешском языке.

Работа **Г. Флидровой** и **С. Жажи** восполняет некоторые пробелы в исследовании данной проблематики, о которых говорил и П. Адамец, прежде всего анализ порядка слов с точки зрения стилистической окраски предложения. При этом внимание уделяется и уже упомянутым факторам (синтаксической структуре предложения, актуальному членению и фонетическому принципу). Со стилистической окраской авторы связывают, прежде всего, использование фразового ударения, которое в русском языке играет более выразительную роль, а также использование согласованного определения в постпозиции после существительного (в разговорном стиле или в административном – в прејскурантах и инвентарных списках) [Flídrová, Žaža 2005: 110–115].

Проанализировав некоторое количество переводов, сделанных с русского языка на чешский и наоборот, мы можем утверждать, что ошибки в порядке слов не являются редкостью. Данный факт можно объяснить, парадоксально, прежде всего наличием многих общих черт в порядке слов чешского и русского языка. Полагаясь на это, многие переводчики, прежде всего, начинающие, не уделяют данной проблематике достаточного внимания, таким образом, обрекая себя на совершение ошибок.

По нашим наблюдениям, наиболее частой ошибкой при переводе с чешского языка на русский и наоборот, является нарушение правила, гласящего, что в русском языке прямой порядок слов (подлежащее, затем сказуемое) сохраняется и в том случае, когда им предшествует **второстепенный, детерминирующий член предложения**, в то время как в чешском языке в таком случае грамматической нормой становится обратный порядок слов (сказуемое, затем подлежащее):

Издавна было посещение театра культурным событием.

Особенно таким образом может молодой человек сформировать хорошее отношение к театру.

Никогда не удовлетворит предложение самых качественных постановок страстных любителей фильмовых эффектов.

Иногда фильм настолько интересный, что я хочу прочитать книгу, по которой был фильм снят. (Эти и следующие примеры взяты из переводов студентов.)

Понятно, что эти ошибки были совершены именно под влиянием порядка слов в чешском языке, где аналогичный порядок слов был бы грамматически правильным:

Odedávna byla návštěva divadla kulturní událostí.

Zvlášť takovým způsobem může mladý člověk vytvořit dobrý vztah k divadlu.

Nikdy neuspokojí nabídka nejkvalitnějších inscenací vášnivé milovníky filmových efektů.

Občas je film natolik zajímavý, že se mi chce přečíst knihu, podle které byl film natočený.

Однако правила русского языка предусматривают иной порядок слов: *никогда предложение самых качественных постановок не удовлетворит; издавна посещение театра было культурным событием; особенно таким образом молодой человек может; книгу, по которой фильм был снят.* Подобные ошибки, естественно, совершаются и при переводе с русского на чешский язык:

Na konci filmu zklamaný dědeček jede zpátky se smutnými zprávami.

Nakonec film byl natočen s velmi omezenými finančními prostředky, přesto zapůsobil silně i co se týče stylu a způsobu natáčení.

В подобных предложениях чешский язык отдает предпочтение иному порядку слов: *Na konci filmu jede zklamaný dědeček...; nakonec byl film natočen... т. е. сказуемое размещается на втором месте в предложении.*

Однако, необходимо заметить, что порядок слов, повторяющий чешский, т. е. при котором сначала располагается детерминант, за ним сказуемое, а далее подлежащее, может быть правильным и в русском языке, однако для этого подлежащее должно быть собственно новым в данном сообщении, его ремой (напр. *На улице слышен шум*). Интересен тот факт, что в своей работе Н. С. Валгина именно такой порядок слов называет стилистически нейтральным и прямым, а постановку подлежащего перед сказуемым она считает инверсией, утверждая, что при этом «разрывается плавность речи» [Валгина 1978: 157–158]. Однако мы считаем, что она сосредотачивается только на определенном типе предложений, т. е. на таком, где, как уже было упомянуто, подлежащее является ремой сообщения, поэтому его размещение в постпозиции за сказуемым оправданно. При этом Валгина не уделяет внимания предложениям, в которых рема представлена другими членами предложения, поэтому с ее утверждением, гласящим, что порядок слов *второстепенный член – сказуемое – подлежащее* в русском языке является прямым в принципе, невозможно согласиться.

С. Жажа, Я. Бауэр и Р. Мразек обращают внимание на существенное различие порядка слов в русском и чешском языке, заключающееся в том, что **рема в русском языке может находиться** не только на последнем или первом месте предложения, но и **в середине предложения** [Bauer, Mrázek, Žaža 1960: 325–326].

Впоследствии С. Жажа в работе, написанной в соавторстве с Г. Флидровой, уточняет, что подобное явление в русском языке типично прежде всего для разговорной речи и объясняется большей степенью субъективности порядка слов, чем в чешском языке [Flídrová, Žaža 2005: 115]. По нашим наблюдениям, размещение ремы в середине предложения довольно часто встречается и в письменной речи разных стилей и может стать причиной ошибок при переводе на чешский язык:

Tuto knihu jsem už dlouho zamýšlel napsat.

Někteří přátelé mě žertem nazývají nepřitelem rodu lidského. A to i při tom, že je mi velmi vlastní lidskost.

Ale paměť toto nejvíce chrání a chrání to pro věčnost.

Prameny člověka mohou být pouze částečně pochopeny a racionalizovány. (Данные примеры взяты из перевода книги Николая Бердяева «Самопознание. Опыт философской автобиографии», сделанного Маркетой Валковой.)

В данных примерах ошибки сделаны под влиянием русского оригинала:

Книга эта мной давно задумана.

Некоторые друзья шутя называли меня врагом рода человеческого.

И это при том, что мне очень свойственна человечность. Но память наиболее это хранит и хранит для вечности.

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы.

Следующим отличием в грамматической норме русского и чешского языка, являющегося причиной большого количества ошибок, является интерпозиционный порядок слов, так называемое **обмыкание**, при котором между определением и определяемым словом вкладываются слова, развивающие определение. Хотя такой порядок слов несет книжный оттенок, в русском языке он встречается довольно часто, в чешском же языке он свидетельствует об интерференции русского порядка слов:

Ve filmu se setkáváte s tradičními pro režiséra postupy. (Этот и следующие примеры взяты из сочинений студентов.)

В русском языке порядок слов с *традиционными для режиссера методами* вполне возможен и отвечает грамматической норме, однако в чешском языке необходима корректировка: *s postupy tradičními pro režiséra*. Аналогичный пример:

Rozhodující pro život otázky Samanta skoro neřeší.

Опять же, в данном случае возможная на русском языке конструкция *решающие для жизни вопросы* повлияла на порядок слов в языке перевода, где более удачным было бы сочетание *otázky rozhodující pro život*.

В связи с данной проблематикой, П. Адамец обращает внимание на то, что при интерпозиционном порядке слов в русском языке на определение падает гораздо менее сильное логическое ударение, чем в чешском, где оно отделено паузой и стоит в конце высказывания. Для решения данной ситуации Адамец предлагает использование в чешском языке такого порядка слов, при котором слова, развивающие определение, вкладываются перед ним [Adamec 1956: 180].

Г. Флидрова в качестве еще одного отличия русского и чешского порядка слов приводит тот факт, что в русском языке **дополнение, выраженное личным местоимением или указательным местоимением это**, часто находится в постпозиции за глагольным сказуемым [Flídrová, Žaža 2005: 111]. В чешском языке в данной ситуации действует выше упомянутое правило организации энклитик, т. е. местоимение должно находиться на втором месте в предложении:

Film je režisérova prvotina. Moretti natočil ho, když mu bylo dvacet.

Mnozí diváci si určitě položili otázku, zda se opravdu toto může stát?

В приведенных примерах порядок слов можно назвать калькой с русского языка, где последовательность *Moretti снял его, когда ему было двадцать; ...действительно ли это может произойти?* является нормой, в то время как чешский язык предписывает порядок *Moretti ho natočil, když...; zda se to opravdu může stát.*

Вообще **энклитический характер личных местоимений** чешского языка определяет важное отличие порядка слов в нем от русского, а именно тот факт, что в краткой форме они не могут занимать первое место в предложении. На русском языке они могут размещаться в начале предложения, не неся при этом логического ударения. При переводе с русского языка на чешский данное правило часто забывается:

Mě překvapilo, že na promítání skoro nikdo nebyl.

На русском языке порядок слов *меня удивило, что...* вполне приемлем, однако на чешском местоимение должно быть на уже упомянутом втором месте после члена предложения, несущего логическое ударение: *překvapilo mě, že...*

В русском языке энклитический характер имеет **глагол-связка *быть*** и его формы, сочетающиеся с именным сказуемым, выраженным краткими формами прилагательного. В таких случаях связка стоит в постпозиции за ними. В этом порядок слов в русском языке отличается от чешского, в котором порядок слов, отвечающий следующему примеру является приемлемым:

Было мне интересно узнать, чем книга закончится.

В данном случае постпозиция глагола-связки (*мне интересно было узнать...*) является желательным, хотя и не единственно возможным вариантом, вполне правилен также следующий вариант:

Мне было интересно узнать, чем книга закончится.

В данном случае можно говорить лишь о некоторой тенденции к постпозиции глагола связки, однако в сочетании с краткими формами модальных предикативов такой порядок слов является обязательным и в русском языке.

Следующей ошибкой, довольно часто совершаемой при переводах на русский язык, является **размещение обстоятельства** в постпозиции за сказуемым, в то время как ему чаще свойственна препозиция:

Атмосфера в театре будет всегда более интимная, чем в кинозале.

Данное правило, однако, нельзя считать обязательным, так, например, Г. Флидрова говорит скорее о тенденции [Flídrová, Žaža 2005: 111]. Тем не менее, в приведенном примере препозиция обстоятельства является более удачной: *атмосфера в театре всегда будет более интимной...*

Ошибки при переводе на чешский язык может вызвать также тот факт, что в тех случаях, когда одно существительное в нем характеризуется **двумя несогласованными определениями**, одно из которых находится в форме беспредложного родительного падежа, а второе в любой другой форме, обязательен следующий порядок: сначала идет родительный падеж, затем второе несогласованное определение. В русском языке приемлем также обратный порядок слов, что может повлиять на результат перевода:

Hodnocení od Spielberga tohoto filmu byla přijata nadšeně.

Данное предложение стало калькой с русского:

Оценка Спилбергом этого фильма была принята с восторгом.

Следующим отличием порядка слов в русском языке от чешского является более частое прибегание к **эллипсису**, особенно в разговорной речи. Данное обстоятельство необходимо помнить при переводе на чешский язык, избегая интерференции.

Подводя итоги, мы хотели бы заметить, что проблематика порядка слов действительно является весьма неоднозначной. Этот факт определяется прежде всего тем множеством факторов, влияющих на порядок слов, а также тем, что они в большинстве случаев действуют совместно и неотрывно друг от друга.

Изучению различий в порядке слов в разных языках при переводе уделяется мало времени и внимания, что ведет к игнорированию данной проблематики и последующему возникновению большого количества ошибок, как из-за небрежности в организации предложений на своем родном языке, так и по причине применения принципов языка оригинала на язык перевода. Данная проблематика особенно сложна для начинающих переводчиков, поскольку для правильного понимания текста на языке оригинала, его последующей интерпретации и адекватного перевода необходимо принимать во внимание все факторы, влияющие на перевод, прежде всего это касается принципа актуального членения.

Как мы видим, ошибок в данной области часто не удается избежать ни начинающим переводчикам и студентам, изучающим язык, ни переводчикам уже практикующим, в связи с чем хотелось бы еще раз отметить, что для создания качественного перевода необходимо не только в совершенстве знать правила, действующие в языках, с которыми переводчик работает, но и обладать особым языковым чутьем и быть постоянно внимательным.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- БЕРДЯЕВ, Н. (1990): *Самопознание (опыт философской автобиографии)*. М.: Международные отношения, 336 с.
- ВАЛГИНА, Н. С. (1978): *Синтаксис современного русского языка*. Редактор Н. А. Захарова. 2-е издание. М.: Высшая школа, 440 с.
- ПЕШКОВСКИЙ, А. М. (1956): *Русский синтаксис в научном освещении*. Редактор А. Б. Шапиро, Л. А. Чешко. 7-е издание. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 512 с.
- СИРОТИНИНА, О. Б. (1965): *Порядок слов в русском языке*. Саратов: Издательство Саратовского университета, 172 с.
- ADAMEC, P. (1956): *K rozdílům mezi českým a ruským slovosledem*. In Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. Red. B. Havránek. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 228 s.
- BAUER, J., MRÁZEK, R., ŽAŽA, S. (1960): *Průruční mluvnice ruštiny pro Čechy. II skladba*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 484 s.
- BERDAJEV, N. (2005): *Vlastní životopis*. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 440 s. Z ruského originálu přeložila Markéta Válková.
- FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. (2005): *Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским*. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 164 s.
- GEBAUER, J., ERTL, V. (1926): *Gebaurova mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské*. II skladba. 9. vyd. Praha: Československá grafická unie, 276 s.

- HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. (1981): *Česká mluvnice*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 592 s.
- KŘÍŽKOVÁ, H. (1953): *Problémy českého a ruského slovosledu*. In *Kniha o překládání*. Red. J. Moravec. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československo-sovětského institutu, 360 s.
- UHLÍŘOVÁ, L. (1987): *Knižka o slovosledu*. Praha: Academia, 164 s.

RADANA MERZOVÁ

*Česká republika, Olomouc***KORESPONDENCE ČESKÝCH A UKRAJINSKÝCH
(RUSKÝCH) UČENCŮ – VÝZNAMNÝ KOMUNIKAČNÍ
PROSTŘEDEK KULTURNÍHO STYKU****ABSTRACT:**

This article features a review of preserved correspondence between major Czech and Ukrainian scientists and writers, which reflects various areas of interest and the development of mutual relationships. Research in mutual correspondence offers an insight into the culture and literature of the period, seen through the subjective perspective of the active participant themselves. Apart from scientific facts, they also reveal everyday circumstances. Knowledge and assessment of the authors and direct partakers of cultural life help to capture the depth of mutual relationships on both sides.

KEY WORDS:

Czech-Ukrainian cultural relationship – correspondence – national revival – information exchange – literary news.

Po vzoru Josefa Dobrovského mnoho českých slavistů, spisovatelů a sběratelů folkloru podniklo řadu cest po východní Evropě a zemích slovanského světa, jako například Karel Havlíček Borovský cestoval do Ruska nebo K. V. Zapa pobýval ve Lvově. Z ukrajinské strany pak do Prahy, tehdejšího centra vědecké slavistiky, přicestovali Osyp Bodjans'kyj, Izmajil Ivanovyč Sreznevs'kyj, Jakiv Holovač'kyj či Pantalejmon Kuliš.¹ Význam osobního kontaktu je z hlediska slovanské myšlenky veliký, povětšinou podnítil další komunikaci v rovině korespondenční. Předávání informací a kontaktů, sběr materiálů a poznatků, výměna názorů a pohledů na slovanskou problematiku, to vše představovalo hlavní náplň vzájemné korespondence a stalo se nejen pilířem budování kulturního povědomí o slovanských sousedech, ale přispělo i k rozvoji slavistiky jako vědy. Jedná se především o období 30. a 40. let

¹ Pantalejmon Oleksandrovyč Kuliš byl ukrajinský prozaik, básník, dramatik, sběratel folkloru, etnograf, jazykovědec a překladatel. Kuliš byl autorem prvního ukrajinsky napsaného historického románu s názvem *Чорна рада* a také autorem první fonetické abecedy ukrajinského jazyka.

19. století, kdy se u mladé české generace probudil zájem o život na Rusi a obráceně, Rusové i Malorusové zkoumali podmínky panující u nás.

Tento článek si klade za cíl zachytit nejdůležitější vzájemné písemné styky osobností období od cesty Josefa Dobrovského do Ruska až do pádu Bachova absolutismu u nás. Jedná se o soupis vzájemně komunikujících dvojic a přínos jejich korespondence k česko-ukrajinským kulturním vztahům. Některé osobnosti se sice narodily na území dnešního Ruska, ale působily na území dnešní Ukrajiny (Charkov, Kyjev, Lvov, Oděsa). V některých případech jde o rodáka z dnešní Ukrajiny, který pracoval mimo toto teritorium, ale oblast jeho zájmů spadá do česko-ukrajinských kulturních vztahů.

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK A JEHO KORESPONDENCE S RUSKÝMI A UKRAJINSKÝMI UČENCI

**Pavel Josef Šafařík a Osyp Maksymovyč Bodjans'kyj
(21 let korespondence, cca 120 dostupných dopisů)**

Korespondence P. J. Šafaříka a O. Bodjans'kého je důležitá k porozumění zrodu česko-ukrajinských vztahů, neboť oba měli značný zájem o studium slovanské písně, sbírání folkloristického materiálu a zkoumání zvláštností obou jazyků (nářečí). Korespondence započala obširným dopisem Bodjans'kého Šafaříkovi ze dne 26. dubna 1836², v němž vysvětluje rozdělení jazyků na ruském území. Jejich dopisování trvalo do března roku 1857.

Bodjans'kyj považoval ukrajinštinu za samostatný jazyk, zatímco Šafařík za nářečí. Bodjans'kyj pečlivě vysvětluje všechny znaky maloruské řeči, popisuje povahu a vlastnosti maloruských a velkoruských písní. Jiný dopis se věnuje zvláštnostem skloňování maloruštiny a dalším jejím rysům. Žádá Šafaříka, aby mu odpověděl českým jazykem, neboť v Moskvě bylo v té době velmi málo materiálu ke studiu slovanských jazyků. Zanedlouho po výměně těchto dopisů přijíždí Bodjans'kyj do Prahy a setkává se s Šafaříkem osobně. Jejich vztah byl velmi srdečný a přátelský, pobývali spolu v Karlových Varech a v Teplících. Bodjans'kyj dokonce strávil i nějaký čas v Olomouci a Brně, pak se vydal do Rajhradu zhlédnout rukopis Martyrologium Adonis z 9. století³. Oba vědci spolupracovali i v Praze. Byl to Šafařík, kterému Bodjans'kyj vděčí za důkladné seznámení se s češtinou, lužičtinou, moravským a slovenským jazykem, ale také s historií Slovanů a jejich literaturami. Nezůstává bez zájmovosti, že Bodjans'kyj se naučil tak dobře česky, že prý někteří nerozpoznali, že se zde nenarodil. Sám Šafařík v dopise Pogodinovi 8. prosince 1838 píše: „*Er machte hier schoene Fortschritte im Boemischen.*“

I v další korespondenci Šafaříka s Pogodinem je možné nalézt mnoho informací o pobytu a studiích Bodjans'kého v Praze. Další cesta Bodjans'kého vedla do několika měst dnešního Maďarska, Chorvatska a Srbska. Korespondence se Šafaříkem nebyla přerušena ani tam, dostávalo se mu pravidelně informací o nových knihách, i

² Francev, V. A.: *Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učenci (1825–1861)* část 1,2 Praha: Česká akademie věd a umění, 1928. Pokud není uvedeno jinak, Šafaříkova korespondence pochází z této publikace.

³ Zakarpatská Ukrajina: Historie do roku 1848. *Zakarpattia.net* [online]. [cit. 2012–08–31]. Dostupné z: <http://zakarpattia.net/zakarpatska-ukrajina/historie/do-1848.html>.

ruských. Jejich vzájemná spolupráce touto cestou přinášela oběma mnoho poznatků a praktické pomoci. Příkladem budiž Šafaříkovy prosby opravit jména maloruských spisovatelů a roztrždit, která jsou skutečná a která jsou jen pseudonymy. Jindy Bodjans'kyj Šafaříkovi přepisuje maloruské písně latinkou a provádí jejich korektury v tisku. Tato pomoc byla významná především pro Šafaříkův *Slovanský národopis*. Na základě Bodjans'kého komentářů (dopis s opravami čítá téměř sedm stran) došlo k mnoha opravám, zpřesněním a vysvětlujícím poznámkám především v části o Malorusech a Bělorusech. Revidovaný text se objevil ve druhém vydání *Slovanského národopisu*.

Po návratu z cest po slovanských zemích se stal Bodjans'kyj profesorem a byla založena nová katedra slovanských studií v Moskvě. Jak slíbil Šafaříkovi, přeložil jeho *Slovanský národopis* do ruštiny. Mapu, která byla v Praze kolorována, představil Bodjans'kyj na Šafaříkovo naléhání ruským a ukrajinským studentům s českými popisky.

Později Šafařík v dopisech často apeloval na Bodjans'kého, aby si společně s kolegy opatřili dostatek materiálů a učebnic pro slovanská studia, a navrhl mu i některé knihy, které by měly být sepsány. Na Šafaříkův popud začala vznikat kniha národních písní a česko-ruský slovník. Bodjans'kého plány byly mnohdy až nesplnitelně rozsáhlé, proto byl často Šafaříkem i Pogodinem usměrňován. Plán na založení časopisu věnovaného slovanským věcem podporovaly obě strany. Bodjans'kého entusiasmus vyvrcholil koncem 40. let 19. století, kdy všechny své úmysly sepsal Šafaříkovi do dlouhého devítistránkového dopisu z 31. srpna 1847. Dopis uzavírá prosbou o zaslání několika čísel *Časopisu Českého muzea*. Pogodin, Šafařík i ostatní kritizovali Bodjans'kého za nešetné zacházení se starými tisky, a proto docházelo v této záležitosti k neshodám mezi korespondenty. Šafařík zavrhoval nejen Bodjans'kého způsob y edic, ale dokonce se mu podařilo přesvědčit ho o nevhodnosti písma, které zvolil. Věc dospěla tak daleko, že Šafařík sám posbíral všechny vzory cyrilského písma a jejich matrice poslal do Moskvy. Tento akt zaujal pozornost širších kruhů a nové vzory písma byly objednány i do Kyjeva. Nutno podotknout, že Šafařík byl velice pečlivý a přesný, proto práce na zdokonalování cyrilice vhodné pro tisk trvala poměrně dlouho. Konečná verze cyrilského písma byla do Moskvy spolu s vyúčtováním odeslána 31. prosince 1847.

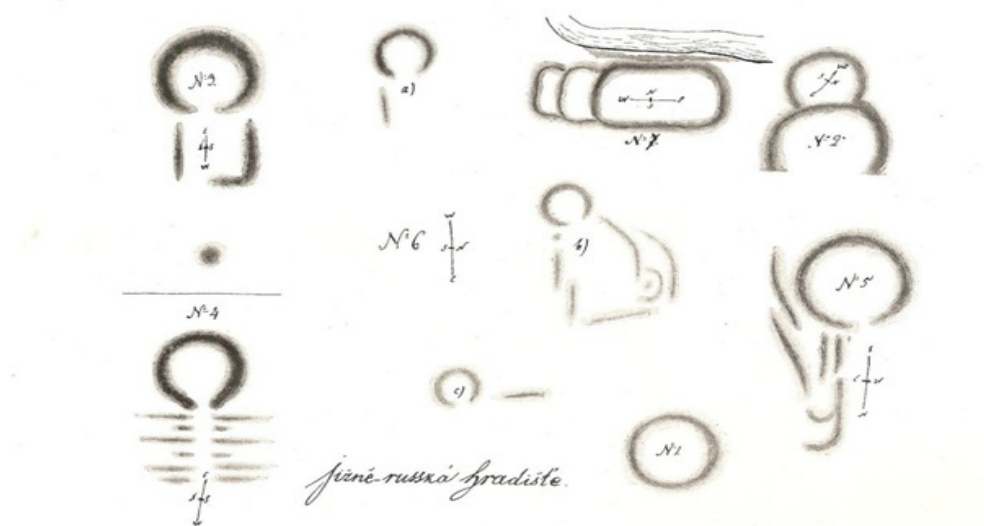
Korespondence P. J. Šafaříka s O. Bodjans'kým z roku 1848 se nedochovala, ale je jisté, že nebyla příliš hojná. Teprve v následujícím roce se vracejí ke vzájemnému dopisování. Korespondence z padesátých let se týká především plánovaného Bodjans'kého spisu o době vzniku slovanských písem a Šafaříkovy dopisy informují o chystaném výboru slovanských, zvláště jihoslovanských památek. Kolem roku 1855 se Šafařík nejvíce zabývá studiem hlaholského písemnictví a o pomoc prosí nejen Bodjans'kého, ale i Sreznevs'kého a Hryhorovyče.

Je zajímavé, jak se oba vědci shodovali v plánování přednášek a cvičení pro univerzitní studenty, jak se podobaly jejich záměry a plány. Toto přátelství lze považovat za velice přínosné obecně pro celou slavistiku, a to ve všech jejích sférách.

Vyměňované informace se týkaly jazyka, literatury i kultury (knihy, mapy, matrice písma, vzorky, opisy, nákresy, přehledy aj.).⁴

Pavel Josef Šafařík a Izmajil Ivanovyč Sreznevs'kyj (21 let korespondence, cca 35 dostupných dopisů)

Izmajil Sreznevs'kyj přednášel 13 let na charkovské univerzitě, bohužel se z tohoto období jeho korespondence s P. J. Šafaříkem nedochovala. Od 30. let 19. století se Sreznevs'kyj soustřeďuje na slovanskou, především ukrajinskou lidovou slovesnost a etnografii a jako člen charkovské katedry slovanské filologie navštívil Prahu. Z cest psal nejčastěji své matce – z těchto dopisů víme, že se Sreznevs'kyj osobně setkal se Šafaříkem a dobře si porozuměl i s Václavem Hankou, s nímž si pak také dopisoval. Šafaříkovi zasílal poznatky z cest po Horní a Dolní Lužici, jež později použil pro svůj *Slovanský národopis*. Byl to právě Sreznevs'kyj, na nějž se Šafařík také obracel s prosbami o korektury map a statistických údajů. Jako příklad budíž uveden dopis z roku 1841, v němž Sreznevs'kyj popisuje haličská a jihoruská hradiška a přidává vlastní nákresy.



Izmajil Sreznevs'kyj se podílel na vydávání nového časopisu s názvem *Izvěstije*, který začal vycházet v roce 1852, a Šafařík byl pozván k pracovní účasti. V korespondenci mezi těmito vědci dochází mezi lety 1845–1852 k přestávce a bohužel není známo proč.

Pavel Josef Šafařík a Jakiv Fedorovyč Holovac'kyj (cca šest let korespondence, šest dostupných dopisů)

Vzájemné dopisování P. J. Šafaříka s J. F. Holovac'kým pravděpodobně začalo prostřednictvím K. V. Zapa, který si ze Lvova se Šafaříkem psal v roce 1836.

⁴ Oba mužové si také v dopisech sdělovali informace privátní povahy – vzájemnou starost o zdraví, o rodinu, dojmů a subjektivní pocity, upřímné pochyby a kritiku.

Dochovaná korespondence pocházející z roku 1837 prozrazuje, že Šafařík obdržel dopis od Holovac'kého již před tímto rokem. Podstatný je dopis z roku 1848, v němž Holovac'kyj Šafaříkovi obstaral přepis maloruských listin a výpisky ze srbské kroniky. Již od roku 1841 přispívá Holovac'kyj pravidelně do *Časopisu Českého muzea* a hned následující rok prosí Šafařík Holovac'kého o zaslání výpisu místních jmen, názvů hradů a měst ve východní Haliči, Podolí, Volyni v chronologickém pořádku s udáním roku.

V roce 1850 sbírá Šafařík materiály k pořízení soupisu pramenů k historii Srbska. Holovac'kyj ho v dopise z 10. února informuje, že některé dokumenty pro takový korpus je možné nalézt ve Lvově. Významným počinem Holovac'kého bylo obstarání dokonalého přepisu staroslovanské bible z kláštera sv. Onufrije psané cyrilicí, kterou vydal v Praze Francysk Skarina v letech 1517–1519. Holovac'kyj k němu připojil svůj popis a úvahy o jeho původu. Jazyk opisu obsahuje četné bohemismy, jejichž příklady jsou uvedeny v dopise z roku 1856. Pro Šafaříka měly velkou cenu pravidelné opravy a připomínky ke *Slovanskému národopisu*, neboť pocházely od výborného znalce Uherské a Haličské Rusi.

Pavel Josef Šafařík a Ivan Mykolajovyč Vahylevyč (cca 8 let korespondence, cca 7 dostupných dopisů)

Vahylevyčovo jméno bylo zmíněno výše. K seznámení tohoto ukrajinského romantika, člena Ruské trojice, a P. J. Šafaříka došlo skrze M. P. Pogodina, jenž doporučil Vahylevyčovi, aby posílal všechny sebrané materiály do Prahy Šafaříkovi, neboť byl uznávanou autoritou mezi slovanskými filology. Dne 3. října 1836 napsal Vahylevyč Šafaříkovi dlouhý dopis, v němž vypisuje svoji dosavadní činnost, přidává krátké úvahy o maloruském nářečí a několik informací o ruské literatuře. Bohužel se dochovaly pouze dopisy Vahylevyče Šafaříkovi věnující se především diskuzi nad správným pravopisem a jazykem jihoruské řeči. V dopise z 8. října 1838 Vahylevyč předkládá svůj výklad tří epoch slovanské mytologie a posílá Šafaříkovi vánoční písně. Oplátkou žádá české koledy z kraje prácheňského. Dopisy z následujícího roku se nejvíce týkají výměny písní, především koled, vymezení rusko-rumunských a rusko-polských hranic. Obecně lze říci, že pro Šafaříka měly z dopisování s Vahylevyčem největší cenu právě sbírky národních písní, které postupně uveřejňoval ve *Slovanském národopisu*. V Šafaříkově článku *O zemi jmenované Bojky* (ČČM, 1837) je s vděčností připomenut Vahylevyč jako horlivý vlastenec přispívající k povědomí o obyvatelích východní Haliče.

Pavel Josef Šafařík a Mychajlo Oleksandrovyč Maksymovyč (cca 15 let nečetné korespondence, počet dopisů neznámý)

Počátek korespondence Pavla Josefa Šafaříka a Mychajla Oleksandrovyče Maksymovyče není přesně znám, ale datuje se přibližně od podzimu roku 1835. Iniciátorem vzájemné komunikace byl Šafařík, který napsal dopis s vyjádřením zájmu o dění na východě slovanského světa a s poděkováním za vydání ukrajinských národních pís-

ní. Odpověď na tento dopis se nedochovala. Platon Lukaševyč⁵ přivezl při návštěvě Prahy Šafaříkovi sbírku knih ukrajinských národních písní, dokonce i s věnováním „veleváženému a uznávanému u nás panu Šafaříkovi od Maksymovyče z Kyjeva“ [Holovko 2004:283]. Šafařík poslal na oplátku Maksymovyčovi stati a dopisy včetně sbírek národních písní Kollára, Čelakovského a Fr. Sušila. Mnoho jejich vzájemných dopisů se nedochovalo nebo ztratilo, avšak některé informace můžeme zjistit i z korespondence Maksymovyče s Bodjans'kým. V roce 1840 v jednom z dopisů Šafaříkovi Maksymovyč prosí, aby speciálně pro něj do časopisu *Києвлянин* sepsal pojednání o kyjevských bozích: „[...] je celkem srozumitelné chtít mít ve svém časopise příspěvek od jednoho z nejlepších slavistů všech dob“ [Holovko 2004:282]. Ve stejném roce přijíždí Bodjans'kyj do Prahy.

Josef Šafařík a Viktor Ivanovyč Hryhorovyč (cca 18 let nečetné korespondence, 11 dostupných dopisů)

Před analýzou korespondence P. J. Šafaříka s V. I. Hryhorovyčem je nutné tohoto ukrajinského literárního vědce a lingvistu krátce představit, neboť se zabýval podobnou oblastí jako Šafařík. Hryhorovyč lze považovat za Šafaříkův ukrajinsko-ruský protějšek. Hryhorovyč se narodil 12. května 1815 v Baltě (dnešní Oděská oblast). Zemřel 31. prosince 1876 v Jelyzavethradu, dnešním Kirovohradu. V roce 1833 ukončil střední školu v Charkově a posléze roku 1839 Derptskou (dnes Tartuskou) univerzitu. Stal se jedním ze zakladatelů ruské slovanské vědy. V letech 1865–1876 byl profesorem na Kazanské, Moskevské a Novorosijské (Oděské) univerzitě. Je např. autorem prací zabývajících se především historií jazyka a literatury slovanských národů *Про праці, що стосуються давньої слов'янської мови до М. Смотрицького, Зауваження про лексичне вивчення рукописів, писаних давньосло-в'янською мовою* obě knihy 1851, *Спроба викладу літератури слов'ян у її найголовніших епохах* a *Короткий огляд слов'янських літератур* obě knihy 1841. Hlavním předmětem Hryhorovyčových výzkumů byl původ dávných slovanských písemných památek, slovanských azbuk, analýza jednotlivých jazykových rysů a paleografických charakteristik památek. Zmíněnou oblastí se zabývá kniha s názvem *Слов'янські старожитності* (1879). Ve sborníku *Слов'янські нарiччя* (vydaném 1884) podal charakteristiku ukrajinského jazyka. Během své cesty do jihoslovanských zemí (1844–1847) objevil Chilendarské „lístky“⁶ – památky slovanské písemnosti z 11. století, které později věnoval Novoruské univerzitě a dnes jsou uloženy v Oděské státní vědecké knihovně O. M. Gorkého.

Přestože se Hryhorovyč orientoval především na historii Srbska, korespondence se Šafaříkem měla velký přínos pro oba. V. I. Hryhorovyč byl členem Archeografické komise a díky němu se Šafařík dostával k vydání letopisů, historických aktů či map jako první. Šafařík byl komisí zvolen korespondenčním členem, a roku 1844 jí zaslal

⁵ Лукашевич, Антон Акимович – ukrajinský etnograf a lingvista, jehož zásadním počinem byla sbírka písní z celého teritoria Ukrajiny vydaná pod titulem *Малоросійские и червонорусские народные думы и песни* (1836); také udržoval styky s haličskými literárními osobnostmi.

⁶ Хилendarsькі листки. Григорович Віктор Іванович. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://uk.wikipedia.org/wiki/Григорович_Віктор_Іванович.

Korespondence českých a ukrajinských (ruských) učenců – významný komunikační prostředek kulturního styku některé své příspěvky k ruské historii. Dalším efektem vzájemné korespondence bylo zprostředkování kontaktů a materiálů.

DALŠÍ KORESPONDENCE ČESKÝCH A UKRAJINSKÝCH UČENCŮ

Václav Fortunát Durych a Ondřej Bačinský

Ondřej Bačinský (†1809) byl biskupem mukačevsko-užhorodské eparchie na Zakarpatské Ukrajině, kde položil základy kulturnímu a vzdělanostnímu rozvoji řecko-katolického duchovenstva a školství. Je doloženo, že byl v korespondenčním styku s V. F. Durychem,⁷ kterého informoval o spisech v užhorodské biskupské knihovně, již spravoval a rozšířil o množství rukopisů a starých tisků.

Václav Hanka a Izmajil Ivanovyč Sreznevs'kyj

Komplexní informace o vzájemné korespondenci V. Hanky a I. I. Sreznevs'kého se nepodařilo zjistit, avšak *Dopisy z Ukrajiny Václavu Hankovi* byly vydávány v *Časopise Českého muzeum* v letech 1840–1848. Jejich korespondence je velmi četná, Sreznevs'kyj píše Hankovi ze všech svých cest nejrůznější poznatky o národech, zvycích, lidech a jejich mluvě, ale také podrobné přehledy vycházející literatury s osobním hodnocením kvality. Dopisy jsou vždy nadepsány místem, kde se Sreznevs'kyj nacházel (z illyrských Slovan, z Lužice, Petrohradu, Charkova, Drážďan). Dopisy jsou velmi rozsáhlé a podrobné. Slovanským studiím přináší velké množství hodnotných informací. Sreznevs'kyj se představil jako důsledný sběratel a vědec s přehledem o kulturním dění.

František Ladislav Čelakovský a Izmajil Ivanovyč Sreznevs'kyj

V knize *Korespondence a zápisky Fr. L. Čelakovského* se objevují pouze tři dopisy od Sreznevs'kého Čelakovskému z počátku roku 1841. V prvním dopise se Sreznevs'kyj omlouvá Čelakovskému za upřímné, ale mylné hodnocení české literatury. V druhém dopise posílá řadu chorvatských přísloví a ve třetím dopise informuje o místech, která procestoval, o zážitcích ze Záhřebu, o setkání s Bulhary a Illyry. V dopise též vzpomíná na Čechy, kde literatura vzkvétá. Dále přidává několik štýrských přísloví a připojuje řadu přísloví chorvatských (s ruskými ekvivalenty) a prosí Čelakovského o zaslání českých pořekadel a přísloví. Informuje se, kdy vyjdou, a zajímá se o české pohádky. Na závěr udává svou – toho času vídeňskou – adresu.

Václav Hanka a Osyp Maksymovyč Bodjans'kyj

O vzájemné korespondenci těchto dvou velikánů se podařilo zjistit pár útržkovitých informací. Jisté je, že 24. března 1841 knihovník Václav Hanka poslal profesoru Bodjans'kému do Freiwaldu dopis, v němž mu nabízí vzácnou minci knížete Rostislava z okolí Litomyšle za 15 zlatých. Zajímavé je, že o objevu informoval Hanka nejprve Bodjans'kého a nikoho doma v Čechách. Bodjans'kyj je nabídkou nadšen, ihned posílá peníze a žádá více informací o minci. Hanka mu je poskytuje a dodává, že zná ještě další mince (denáry sv. Václava). Numismatik Josef Smolík však tvrdil⁸,

⁷ Zakarpatská Ukrajina: Historie do roku 1848. *Zakarpattia.net* [online]. [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: <http://zakarpattia.net/zakarpatska-ukrajina/historie/do-1848.html>.

⁸ Greguš, P. Historie. Článek o falsifikátorech a podvodnících. *Slovo* [online]. [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: <http://www.noveslovo.sk/printClanok.php?c=20136>.

že to, co Hanka nabídl Bodjans'kému, byl falsifikát. Mince prý pocházely z dílny falšovatele Viléma Kiliána. Pro Václava Hanku bylo podstatné, aby se o nálezu mluvilo nejprve v cizině a pak až doma.

Dále se podařilo nalézt odkaz na dopis z 5. června 1843, v němž píše Bodjans'kyj Václavu Hankovi: „Slovanství u nás (v Moskvě) pokračuje, že si ani nelze více přát. Studenti se hrnou, řekl bych, o překot ke všemu slovanskému.“⁹ Toto tvrzení dokládá připojená objednávka různých slavistických publikací (přes 400 kusů) u knihkupce Řivnáče.

Jakiv Fedorovyč Holovac'kyj a Karel Vladislav Zap

Poprve se Holovac'kyj setkal se Zapem ve Lvově v roce 1837. Jejich korespondenční styk začal v roce 1839, avšak mnoho z dopisů se nezachovalo. Ty, které jsou k dispozici, se nacházejí v Rukopisném oddělení Lvovské vědecké knihovny Vasyla Stefanyka. Pozoruhodné je, že Holovac'kyj napsal dopis českým jazykem. V něm vysvětluje svůj záměr, že chtěl Zapa pobavit, protože bude vtipné „hledět na Rusína v českém rouchu“¹⁰ – úryvek z dopisu:

Mily příteli! ne obdivuj že gsem se do tebe po český odezwál, chtěl jsem zrazu napsati něco humoristický, dla teho aby Te rozweseliti – ale uzawše pero do rukaw připomnuwse sobě owe chwjle serdca mile hdy gsem spoluobecowáwáli, muse to péro stati se gen tlumačem cjtú genž we mñe gsou i ted sam obojwugi swúg list zě co ginného zamyslýl gsem sobe, a co giného wyniklo. – A snad i Ty gsi se giž ne malo usmál, hledjc na Rusína w českém rouchu – wjm že ge tu plno bludů, ale nechcj gich poprawěti, a do hramatyki zahledati – at stogi tati gak dnes s pera wplynulo a –přiteli a polybeg odenmė Jachýma, a powěž mu gsem se geštė ne wyhledal nižadné hezké newěsty, naco by mů temperament gěho gžbych se pewně ozenil waš pritel ale ga gcem tancom...

Dopis vznikl v době, kdy byl Holovac'kyj v Ivano-Frankivské oblasti (1841–1847) a věnoval se sbírání folkloristického a etnografického materiálu ze Zakarpátí. Zpracovaný materiál rovnou připravoval k tisku. A jelikož se Holovac'kyj důkladně zabýval kulturním životem Slovanů, především Čechů, Poláků a Chorvatů, mohl srovnávat jejich skutečné životní podmínky s podmínkami Ukrajinců v Haliči, které byly velmi bídny. Sepsal tedy kritickou publicistickou stať s názvem *Stanowisko Rusínů v Haliči*, jež vyšla roku 1846 v Lipsku. Některá fakta a okolnosti z této stati obsahuje dopis Zapovi.

Zap ve svých dopisech Holovac'kému posílal informace o nových vědeckých publikacích V. Hanky, P. J. Šafaříka, Fr. Palackého či K. J. Erbena. Zároveň informoval o vydávání svého časopisu s názvem *Poutník* a prosil Holovac'kého o příspěvky. Další Zapův dopis Holovac'kému z 30. dubna 1849 obsahuje informace o připravovaném vydání sentimentálně-realistického díla *Маруся* Hryhorija Kvitky-Osnovjanenka, především však obrací pozornost na ilustrace zhotovené pražským

⁹ Smolík, J. *Zlaté mince s domnělým opisem. Rozprawy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění*. Praha: Česká Akademie, 1906.

¹⁰ Криль, М. Невідомий лист Якова Головацького. *Проблеми слов'янознавства*. 2003, č. 3, s. 283–288. Dostupné z: <http://www.lnu.edu.ua/page/n53/031.pdf>.

rytce. Zap líčí svoji pedagogickou práci v Praze a zmiňuje reakci české společnosti na pochod ruských vojsk do Uher.

Karel Havlíček Borovský a Karel Vladislav Zap (dostupných pět dopisů z let 1843–1844)

Karel Havlíček Borovský strávil v domě K. V. Zapa ve Lvově dva měsíce, když čekal na průvodní list do Ruska. Za tu dobu se mimo jiné seznámil s Holovac'kým. K. Havlíček Borovský přislíbil Zapovi podporu při vydávání *Zrcadla* – překladů ruských a ukrajinských spisovatelů (Gogola), a proto jsou dopisy plné nejrůznějších popisů, které by Zapa mohly zajímat. Je nutné sdělit, že kromě velkého množství podrobných reálií získáváme také pravdivé a objektivní hodnocení situace na Ukrajině a v Rusku. Jak napsal v úvodu ke *Korespondenci K. H. Borovského s K. V. Zapem* Ladislav Quis, význam tohoto dopisu tkví v tom, že náleží k nejzajímavějším dopisům uveřejněným do roku 1903. Odhaluje skutečné postoje ruských vědců vůči malému českému národu, popisuje úroveň tehdejší ruské literatury v kontextu všeslovanské myšlenky, sleduje chování konkrétních lidí v jejich vlastním prostředí.¹¹

V dopise z 1. května 1843 chválí Havlíček vstřícnost kyjevských úřadů, které mu pomohly k rychlejšímu odbavení. Líčí, že cesta z Kyjeva do Moskvy trvala 60 hodin, popisuje, jak vypadal povoz s koňmi, transport zavazadel i samu cestu a relativní pohodlí při ní (ve srovnání s německými vozy). Dále čteme, že rychlost jízdy ani neumožňovala detailně spatřit, jak vypadají města Orel a Tula, přes něž jel Havlíček do Moskvy. Pamatuje si jen zelené střechy, barevné ploty s řezbami atd. Dále K. Havlíček popisuje Moskvu a život v ní. Ke konci dopisu pak píše o prosbě O. Bodjans'kého, který chce vydat všeslovanskou antologii a žádal Holovac'kého o několik hezkých písní z jeho sbírky. Bodjans'kyj za to nabízí, že pošle knihy, které si bude Holovac'kyj přát. Havlíček předává pozdravy Holovac'kému a vyřizuje, že se Bodjans'kyj v létě chystá do Haliče, kde se jistě setkají.

Druhý dopis je datován 3. května 1843 a obsahuje informace o stavu ruské literatury a příčinách jejího úpadku, avšak například Gogolovu dílu přiznává vysokou literární úroveň. K. Havlíček tráví nejvíce času u Bodjans'kého, protože jeho knihovna obsahuje mnoho slovanských spisů a také několik čísel časopisu *Květy*. Líčí pozvání, které obdržel od Bodjans'kého, na první zkoušku z českého jazyka v Moskvě.

Na stole leží rozložena mappa »Zeměwid« a »Erbenovy písně«, »Deklamovánky«, Kampelíka »Čechoslowan«, »Ohlas písní ruských«, »České besedy«, »Kytka«, »Slovanské nár. písně« Čelakowského atd. atd. Pan hr. Stroganow po rekomendaci Bodžanského posadil mne wedle sebe za stůl a pořádk se mne na všelicos wyptával a rozmlauwal welmi přiwětíwě. Studenti řezali »Šafařskovy Starožitnosti« a »Národopis« jako do jitrnic.

¹¹ Havlíček, K. Borovský. *Korespondence Karla Havlíčka: Karel Havlíček Karlu Vlad. Zapovi* [online]. [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_MGetPdf?app=9&id=5075&start=142&end=150.

S nadšením líčí, jak studenti četli české knihy, které nebyly v Čechách známé. Havlíček také sepsal článek s názvem *První zkouška z jazyka československého v Moskvě*, otištěný v *Květech* č. 59 z roku 1843 na straně 235. V dopise Zapovi slibuje, že pošle obrázky a plány Petrohradu, Moskvy, Kyjeva, Kazaně a Oděsy.

Další dopis 24. října 1843 obsahuje Gogolovy pověsti jako příspěvek Zapovi do *Zrcadla života na východní Evropě*. Slibuje sepsat výtah z *Москвятина* pro *Věstec*, sborník vlasteneckých zpěvů vydávaných v letech 1835–1839 v redakci J. K. Chmelenského a 1843–1844 v redakci Fr. Škroupa. Havlíček Borovský přiznává, že v Moskvě setrvává jen kvůli Bodjans'kému a jeho ohromnému materiálovému bohatství. Dále informuje o Gogolových povídkách, které se týkají života na maloruské vsi (*Filemon a Baucis*), ve městě (*Matěj a Matouš*) a o povídce s názvem *Kyjevští bursáci* (v roce 1847 vyšla povídka v *České včele* s názvem *Kyjevští studenti*).

V dopise z 16. ledna 1844 Havlíček Borovský píše, že již obdržel dva sešity zmíněného Zapova *Věnce* a zavádí v Moskvě na univerzitě zpěv českých písní. Podává zprávy o literatuře, například, že se tiskne vydání *Slova o pluku Igorově* s notami nebo že P. Kuliš v Kyjevě vydává epické dумы o kozácké historii. Informuje o smrti Hryhorije Kvitky-Osnovjanenka¹² a o tom, že Bodjans'kyj koupil Hankovu knihovnu. Bodjans'kyj se rozhodl, že následující zimu vydá úplnou sbírku maloruských písní. Z toho důvodu Havlíček Borovský prosí Zapa, aby se dotázal Holovac'kého, zda by byl ochoten prodat svou sbírku těchto písní, za niž je Bodjans'kyj ochoten zaplatit 200 až 300 rublů.

Dopis z 30. dubna 1844 obsahuje Havlíčkův plán vrátit se na podzim do Prahy. Na Ukrajině plánuje koupit „koníka“ a na něm jet přes Bělorus, Vilno, Varšavu a Krakov. Slibuje poslat popisy měst Petrohradu, Moskvy, Kyjeva, Rigy a Varšavy. Chválí Bodjans'kého přednášky o české historii, jak „ex cathedra“ vyzdvihuje Jana Husa. Informuje, že v Charkově vyšlo pojednání o ruské národní poezii, jež Havlíček Borovský hodnotí jako nepřilíš zdařilé. Podává zprávu, že pan Čapek z Čech koncertoval v Moskvě na fortepiano.

V posledním dopise z Moskvy ze dne 22. května 1844 Havlíček Borovský ustupuje z plánu jet domů přes Ukrajinu, neboť se nedohodl s Bodjans'kým. Hodlá tedy cestovat přes Litvu, Bělorusko, Varšavu a Vratislav. Popisuje své budoucí plány navštívit jižní Slovany a zahrnuje do těchto plánů návštěvu Maloruska v roce 1845. Rakouské Malorusy popisuje jako lidi s originálním charakterem, jaké není možné potkat v Rusku. Vyjadřuje touhu naučit se mluvit malorusky. Malorusko zná z cestopisů a vyprávění, chce poznat z Maloruska více. Také informuje o tom, že nové vydání *Rukopisu královédvorského* je zdarma rozdáváno studentům v Moskvě. Následující dopis byl již psán z Varšavy.

Karel Havlíček Borovský a František Jirgl (9 dopisů z let 1842–1845)

Několik drobných informací z pobytu K. Havlíčka Borovského ve Lvově je možné nalézt ve třech dopisech adresovaných blízkému příteli Františku Jirglovi do Prahy.

¹² Ukrajinský prozaik, dramaturg, kritik a žurnalista žijící na přelomu 18. a 19. století.

Ten K. Havlíčka Borovského v šesti soukromých dopisech informoval o kulturním a společenském dění v Praze.

Z dopisů ze Lvova K. H. Borovský¹³ informuje Fr. Jirgla o svých nově nabytých jazykových dovednostech, o tom, jak se učí maloruštině, ochutnává haličské i polské kulinární speciality a charakterizuje polské paní a slečny. Na konci třetího dopisu prosí Havlíček Jirgla, aby mu po dobu tříletého pobytu v Moskvě neposílal další dopisy. Ten však této prosby nedbal a Havlíčkovi Borovskému v několika případech přesto napsal. Jednalo se především o dopisy soukromého charakteru.

Karel Jaromír Erben a Jakiv Fedorovyč Holovac'kyj (17 dopisů z let 1854 – 1869)

Korespondenční styk Erbena a Holovac'kého se jeví jako oboustranně velmi přínosný. Erben chtěl, aby mu Holovac'kyj obstaral ukrajinské lidové pohádky (Kvitky-Osnovjanenka aj.), na oplátku provedl korektury Holovac'kého pojednání o staré české modlitební knize a zasloužil se o jeho vydání v Praze. Navzájem se oba spisovatelé informovali o kulturní i literární situaci v Praze a ve Lvově, doporučovali si odborné slovanské hosty (I. V. Lašnjukov¹⁴). Významné pro nás byly především Holovac'kého informace o ukrajinském periodickém tisku (periodika *Слово, В'єстник, Дом і школа, Письмо до громад, Страхонуд, Перемишлянин* atd.).

Karel Jaromír Erben a Izmajil Ivanovyč Sreznevs'kyj (19 dopisů z let 1858–1870)

Erbena a Sreznevs'kého pojí mnoho let vzájemné korespondence, která se zachovala až od roku 1858. Dopisy obsahují odborné rady a organizační záležitosti. Pro oba muže byl společný zájem o slovanskou lidovou slovesnost a nejstarší památky ruské literatury. Sreznevs'kyj posílal Erbenovi darem především knihy, ten mu na oplátku posílal kopie starých českých rukopisů. Jedním z kulturně významných dopisů je z října roku 1867, v němž Sreznevs'kyj velmi podrobně a poutavě popisuje Kyjev.

Zvláštní zmínka by měla být věnována dopisu K. J. Erbena adresovanému Charkovské univerzitě. Erben v tomto dopise z 1. listopadu 1862 děkuje za diplom čestného člena univerzity. 15. ledna 1867 pak sekretář Charkovské univerzity děkuje Erbenovi za čtyři svazky sebraných spisů Husových, které prostřednictvím P. A. Lavrovského zaslal univerzitní knihovně.

Jak je patrné z výše uvedeného přehledu dopisů a informací, vzájemná korespondence byla významným komunikačním prostředkem kulturního styku. Důležitost těchto dopisů lze spatřovat hned v několika bodech.

1) Zcela otevřeně a subjektivně nás informují o tehdejší situaci, vztazích, plánech, rozvoji slovanské myšlenky a vývoji slavistiky. Podávají obraz doby či místa, kde docházelo ke shromažďování poznatků a materiálů sloužících k podpoře všeslovanské myšlenky.

¹³ Po dobu pobytu v Moskvě se nechal K. Havlíček Borovský oslovovat po ruském vzoru Fedor Matějevič Borovský (Havlíčkův otec byl Matěj).

¹⁴ I. В. Лашнюков (1823–1869), ukrajinský dějepisec a profesor na univerzitě v Kyjevě, žák a stoupenec Kostomarovův. Zabýval se především kulturními dějinami.

2) Dozvídáme se o aktuálním vydávání slovanských autorů, o připravovaných publikacích a také způsobu jejich výměny a doručování. Nezřídka si autoři vzájemně některá fakta opravovali, informace upřesňovali a díky tomu mohla být vydání korigována a aktualizována.

3) Dostáváme četné informace o kultuře v daném městě, chystaných shromážděních, čteních či koncertech. Korespondence umožňuje faktické srovnání jednotlivých slovanských zemí (obyvatelstvo, rozloha, počty chrámů, věřících apod.).

4) Neméně významným faktem je ohlas na díla českých vědců v Malorusku, v Rusku a naopak. Hodnocení vnímání a reflexe těchto knih a jiných materiálů přímo v „terénu“ vlastně potvrzuje smysl a kvalitu jednotlivých děl (ačkoli tomu může být i naopak).

5) Korespondence dokládá živé diskuze nad jazykem, stavem literatury a směřování kulturního vývoje.

6) Vzájemné dopisy sloužily v neposlední řadě k předávání dalších kontaktů s osobami, které mohly přispět společnému cíli. Je zřejmé, že korespondence byla přínosnou pro obě strany tohoto svazku a mnohdy také vedla k touze po osobním setkání.

POUŽITÁ LITERATURA:

- BÍLÝ, Fr. (1907): *Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského I. Dopisy z let 1818–1829*. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
- BÍLÝ, Fr. (1907): *Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského II. Dopisy z let 1829–1842*. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
- BÍLÝ, Fr. (1909): *Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského I*. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
- FRANCEV, V. A. (1928): *Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učiteli (1825–1861). Část 1*. Praha: Česká akademie věd a umění.
- FRANCEV, V. A. (1927): *Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učiteli (1825–1861) Část 2*. Praha: Česká akademie věd a umění.
- HAVLÍČEK, K. BOROVSKÝ. (1947): *Cesta na Rus*. Praha: ELK.
- HAVLÍČEK, K. BOROVSKÝ. (1986): *Dílo II*. Ed. Alexander STICH. Praha: Československý spisovatel.
- HAVLÍČEK, K. BOROVSKÝ. (2009): *Dopisy*. Ed. Michal ŠANDA. Praha: Dybbuk.
- HAVLÍČEK, K. BOROVSKÝ. (1950): *Plamenem veselým*. Praha: Brázda.
- HOLOVKO, S. (2004): *Mychajlo Maksyovyč. Lysty*. Kyjiv: Lybid.
- HOSTIČKA, V. (1954): K česko-ukrajinským stykům, v první polovině XIX. století. *Slovanský přehled*. 1954, roč. 40, č. 6, s. 181–182.
- KOUBEK, J. P. (1911): *Františka Palackého korespondence a zápisky III Korespondence z let 1816–1826*. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
- NOVÁČEK, V. J. (1902): *Františka Palackého korespondence a zápisky II. Korespondence z let 1812–1826*. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
- PATERA, A. (1913): *Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a Slezsku: Josefa Dobrovského korespondence. Vzájemné listy Josefa Dobrovského a Jiřího Ribaye z let 1783–1810*. Praha: Nákladem České akademie věd a umění.
- STRNADEL, J. (1968): *Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků 1814–1964. Vědecko-bibliografický sborník*. Praha: Svět sovětů.

МАРГАРИТА МЛЧОХОВА

Чехия, Оломоуц

В. МАЯКОВСКИЙ В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ABSTRACT:

The article deals with the problem of study of the personality and works of V. Mayakovsky in Russian and foreign literary criticism, in particular his evaluation and perception by French critics and representatives of the first Russian emigration. On base of research the author gives a review of the history of French views of the 1920–1930 years on works of V.V. Mayakovsky as well as new approaches to its study.

KEY WORDS:

French perception of V. V. Mayakovsky – Russian emigration – interpretation of the literary composition.

Проблема личности как фундаментального понятия философии и культуры вызывает немалый интерес и многочисленные дискуссии в различных областях науки: философии, культурологии, литературоведении.

Отзывы французской прессы и русских критиков-эмигрантов, писавших на французском о В. Маяковском, до самого последнего времени оставались практически неизученными в отечественном литературоведении. Между тем, в истории русской литературы XX века это по многим параметрам необходимое и недостающее звено, которое наглядно решает проблему взаимодействия двух ее потоков, и, кроме того, проблему ее взаимосвязи с французской литературой. Работы французских исследователей и деятелей эмиграции, отражающие интерес к литературной жизни метрополии данного периода, сегодня являются ценнейшим источником для характеристики литературного процесса. Этим объясняется актуальность исследования.

Настоящая статья ставит своей целью обзор и анализ малоизвестных исследовательских и критических работ, дающих дополнительную информацию об истории русской литературы и об определении в ней места В. Маяковского. Кроме того, в основе данной статьи лежит изучение и перевод французских оригинальных источников, позволяющих по-новому осмыслить значение рус-

ского поэта XX века. Большой интерес представляют исследования Л. Арагона, Э. Триоле, Ж. Сориа, Ж. Садуля, Ж. Гошерона, Л. Бати, Ф. Кереля, Л. Нахимсона, Ж. Альтмана, Ж. Путермана, А. Левинсона, В. Парнаха, В. Познера, Г. Лерман и др.

В данной работе мы постараемся ответить на вопрос, чем стал Маяковский для Франции и, более того, решить проблему: каковы пути подобного влияния?

Необходимо отметить, что исследователями-славистами предлагаются различные решения данной проблемы, но они всегда ориентированы на один неоспоримый факт: В. Маяковский был первым, кто указал стилистическое русло для существования целых поэтических потоков.

Становление французской поэзии XX века – крайне сложный процесс. В арсенале ее выразительных средств, по выражению литературоведа Т. В. Балашовой, «чувственная образность Бодлера, изысканная грубоватость Рембо, утончённая музыкальность Малларме ...» [Балашова 1982: 16–17]. Закономерно возникает вопрос: как связан русский поэт В. Маяковский с именами «основателей» поэзии Франции?

О «легенде, окружавшей имя Маяковского», и о «воздействии его титанической личности», писали в своих мемуарах зарубежные литераторы И. Бехер и А. Шнейдер. Фигура В. Маяковского появилась на поэтическом горизонте Франции в самый решающий момент. Это был период, когда усложнились представления человека о материи, социальной структуре, законе сознания и подсознания, когда поэзия считала себя обязанной выразить то, что не под силу другим видам искусства, – тончайшие нюансы мировосприятия, поиски пути в новый век. И именно двум поэтам, которые никогда не видели и не читали друг друга, – Аполлинеру и Маяковскому, – было суждено повести поэзию по этим путям. Опыт этих двух творческих личностей несомненно важен для всей мировой литературы.

Итак, Маяковский был необходим Франции в кризисную для европейской культуры эпоху: в его творчестве выражен энергичный протест против буржуазного разложения, обещание нового человека и новой социальной реальности. Вот что видели французские критики в личности и творчестве Маяковского. Французы всегда были социально ориентированными литераторами. Отсюда – интерес к футуризму, Маяковскому и русской революции. Взаимодействие творчества русского поэта и французской поэзии было сложным и плодотворным. В конечном итоге литературный мир Франции пришел к выводу: «Опыт Маяковского сыграл большую роль в эволюции нашей поэзии, слившись с опытом целой плеяды поэтов от Рембо до Аполлинера» [Балашова 1982: 17].

Следует сказать, что теоретической базой научной работы о В. Маяковском послужила мысль о русско-французском литературно-художественном контексте, о выделении параметров которого будет сказано позже.

Опорой научного исследования послужили следующие литературоведческие работы: исследование А. Смородина «Маяковский во Франции» (по страницам прогрессивной печати, 1962 г.), в котором дан поэтапный обзор творче-

ства В. Маяковского и анализ его основных произведений в переводах на французский язык, а также оценка личности русского поэта зарубежными литературоведами и критиками; статьи В. А. Швачкина «К вопросу о переводе стихов Маяковского на романские языки» (1962 г.) и Г. Г. Орагвелидзе «Ритм и рифма Маяковского при переводе на французский язык» (1963 г.) посвящены проблемам исследования лингвистических трудностей и особенностей перевода произведений Маяковского на французский и др. романские языки. Особое внимание уделяется вопросам перевоплощения стихотворной формы с одного языка на другой, передаче ритма и рифмы. Большое значение представляют работы Т. В. Балашовой «Французская поэзия XX века» (1982 г.), в частности, ее статья «Лирика Маяковского и французская поэзия» (1984 г.) и книга Г. Рабиновича «История французской литературы XIX–XX вв. (1870–1939)» (1977 г., на французском языке). Немалый интерес вызывают диссертационные работы: Т. В. Скрипка «Концепция человека в творчестве Маяковского дореволюционного периода» (2004 г.), в которой автор рассматривает с позиций современного литературоведения характер «я» – концепции, ее развитие в эстетической системе дореволюционного творчества В. В. Маяковского, основные способы художественного воплощения; И. В. Фадеевой «Культурно-исторический контекст лирических поэем В. Маяковского» (2006 г.), посвященная выявлению специфики влияния культурного контекста современной Маяковскому эпохи на его творчество, без чего не может быть достигнуто глубокого понимания своеобразия его творчества как целостной художественной системы; С. Э. Лебедевой «Основные направления литературной полемики русского зарубежья первой волны и ее отражение в журнале «Современные записки» (2007 г.), где подробно изучен литературно-критический процесс первой русской эмиграции в художественно-культурном контексте 20–30-х годов прошлого века; О. М. Култышевой «Творчество В. Маяковского во взаимодействии с литературным процессом 1910–1920-х годов» (2007 г.), в которой дана характеристика взаимодействия теорий литературных течений и групп указанного периода между собой и в соприкосновении с творческой системой Маяковского; М. В. Покотыло «В. В. Маяковский в оценке отечественной критики и литературоведения» (2008 г.), автор которой дал максимально полный анализ отечественной критики творческого наследия В. Маяковского с акцентом на изучение в русле современных тенденций литературоведения.

Особого внимания заслуживают недавно изданная антология «Маяковский: Pro et contra» (2006 г.), охватывающая широкий спектр мнений и оценок личности и творчества поэта, и сборник научных работ «Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования» (2008 г.), содержащий новые историко – литературные и теоретические подходы к изучению творческого наследия русского поэта XX века, а также анализ конкретного фактического материала.

Появление этих работ способствует более глубокому и всестороннему осмыслению художественного своеобразия творчества Маяковского, его взаимоотношений с различными представителями литературных течений того периода.

Некоторые новые аспекты изучения проблемы личности и творчества Маяковского были намечены в работах современных отечественных литературоведов: Л. Кациса, Б. Сарнова, Ю. Карабчиевского, В. Скорятина, А. Ваксберга, М. Голубкова и других авторов. Рассмотрим лишь некоторые из них.

В 2000 г. выходит в свет труд Л. Ф. Кациса «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи». В нём представлено интересное аналитическое исследование о творческом восприятии поэта современной ему литературы и классики: русской и зарубежной. По своей структуре монография представляет собой целостное описание творческого пути поэта в крайне непростых взаимодействиях, как с русской религиозной философией, так и с советским идеологическим контекстом. Наследие Маяковского в этой работе характеризуется как закономерный элемент развития культуры в России 1900–1930-х годов.

Основой монографии литературоведа и критика Б. Сарнова «Маяковский. Самоубийство», вышедшей в 2006 г., послужили многочисленные воспоминания современников поэта, цитаты из литературно-критических статей 1920–1930-х гг. и исторических документов, позволяющих интерпретировать по-новому жизнь и творчество выдающегося русского поэта. В соответствии со своей точкой зрения на жизнь и творчество В. Маяковского, при помощи целенаправленного анализа и размышлений, Б. Сарнову удалось объединить в единый сюжет огромный фактический материал и заставить его заговорить современным языком. Тем не менее, в книге Б. Сарнова есть немало спорных положений, из-за которых его монография была подвергнута критике профессором Ю. Павловым в статье «Бенедикт Сарнов: случай эстетствующего интеллигента» [http://www.nash-sovremennik.ru/archive/2008/n5/271-282_Pavlov.pdf] и А. М. Ушаковым в статье «Маяковский – вчера и сегодня (Вместо предисловия)», вошедшей в сборник «Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века. Новые задачи и пути исследования» (М., ИМЛИ РАН, 2008).

Отдельно хотелось бы сказать об одной исследовательской работе, заслуживающей особого внимания. В 2009 г. в России была издана книга одного из крупнейших мировых специалистов по Маяковскому, ученого-слависта, шведского писателя Бенгта Янгфельдта «Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг». В центре внимания известного литературоведа – люди, окружавшие Маяковского, чьи судьбы были неразрывно связаны с той героической и трагической эпохой, в которой жил и творил поэт. Особой ценностью книги является то обстоятельство, что в нее включены не публиковавшиеся ранее документы и фотографии из личного архива Л. Ю. Брик, а также из архива британской службы безопасности.

Итак, личность и творчество Маяковского привлекли внимание самых разных исследователей: как представителей русской эмиграции, так и отечественных и зарубежных литературоведов, взгляды которых порою противоположны. Большое количество публикаций полностью или частично посвящены проблемам восприятия и оценки Маяковского. Многие авторы касались вопросов традиций и новаторства, преемственности раннего и послереволюци-

онного периода творчества, взаимоотношений поэта и власти, поэзии и идеологии, внутреннего конфликта личности в ситуации политического выбора.

Как уже было сказано ранее, немалый интерес для исследователей творчества Маяковского представляют статьи франкоязычных критиков-эмигрантов А. Левинсона, В. Парнаха, В. Познера, опубликованные на страницах прогрессивной французской периодической печати, а также работа швейцарского литературоведа Грациэллы Лерман, изданная во Фрибурге. (Статьи и работа – на французском языке). Названные литературные критики различаются по своим художественно-эстетическим и идеологическим принципам. Так, по мнению критика Левинсона, не принявшего большевистского строя и эмигрировавшего по этой причине из России в 1920 г., «большой и странный талант Маяковского был использован для недостойных целей и омерзительной повинности». «Своим самоубийством он (Маяковский – М. М.) опошил то, что было от великого и горького в его решении покончить с собой...» – писал критик в своей статье-некрологе «Поэзия в Советской России. Самоубийство Маяковского». В данной работе А. Левинсон ограничивается не только идеологическим аспектом критики поэзии и позиции Маяковского, а ставит проблему более широко: о собственно эстетической ценности всего «авантюристического авангарда» и его ответственности после 1917 г. за разрушение и без того хрупких (как казалось «западнику» Левинсону) традиций культуры и цивилизации в России.

Другой критик – В. Парнах, исследуя художественное своеобразие русского поэта с эстетических позиций, стремится серьезно проанализировать и идеологическую направленность поэзии Маяковского. Так, в статье «Современные русские поэты» (1926 г.) он считает, что творчество Маяковского после 1917 г. пришло в упадок под «роковым влиянием НЭПа на этого поэта», и связывает это с тем, что вслед за «первым порывом Революции, бурной жизнью уличных толп» наступило «спокойствие», губительное для «нигилизма первых футуристов» и для самого Маяковского. Автор статьи характеризует Маяковского как «крупного чиновника от литературы», «социалистического поэта».

Работа швейцарского исследователя Грациэллы Лерман «От Маринетти к Маяковскому. Судьба одного западного литературного движения в России» – исследование весьма существенное: оно посвящено изучению личности и творческого пути В. Маяковского и его связям с футуризмом.

В. Познер в своей работе «Панорама современной русской литературы» (1929 г.) довольно детально проанализировал творчество Маяковского до 1917 г. В этом исследовании впервые на французском языке рассмотрены поэтика и принципы версификации Маяковского. Исследование Познером творчества В. Маяковского явилось, по сути дела, первой серьезной попыткой проанализировать мировоззренческую направленность и художественное своеобразие поэзии Маяковского. Но анализ В. Познера, также как и критика В. Парнаха, опирается, в основном, на поэзию Маяковского дооктябрьского периода, а послеоктябрьские произведения поэта во французской прессе тех лет не получили высокой оценки.

Таким образом, русские эмигранты, находясь во Франции, хотели не только понять русскую и французскую жизнь, но и стремились пропагандировать во Франции русскую культуру, а благодаря своей творческой работе, старались понравиться просвещенной французской публике. Маяковский был одновременно интересен и им, и Франции, поскольку выражал тенденции нового человека, соответствовал ожиданиям культуры.

Изучению проблемы личности и творчества Маяковского в критике русского зарубежья посвящены работы В. Терехиной, А. Зименкова, Л. Селезнева. Русское зарубежье, и в первую очередь, современники поэта, представители первой волны эмиграции, дают самый разнообразный материал для размышлений. Мемуары и литературно-критические оценки деятелей русской эмиграции – Д. Святополка-Мирского, Ф. Иванова, М. Осоргина, М. Слонима, В. Ходасевича, Г. Адамовича, Р. Якобсона, Н. Оцупа, И. Бунина, М. Цветаевой, И. Эренбурга, Ю. Анненкова и др. представляют сегодня особый интерес.

Но следует отметить, что отношение представителей русского зарубежья к поэзии Маяковского было неоднозначным. На оценку его творчества распространялись стереотипы, сложившиеся в литературной среде русской эмиграции по отношению к футуризму, не принимавшему культурных традиций, и новой советской власти в России. Представители русского зарубежья оценивали творчество поэта с точки зрения политики и в рамках более крупной проблемы – возможности существования литературы в условиях тоталитарного государства. Естественно, негативное отношение к тоталитаризму в нашей стране накладывало отпечаток на оценку творчества Маяковского.

Как уже было сказано ранее, теоретической основой исследовательской работы о В. Маяковском является мысль о литературно-художественном контексте. В подходе к анализу творчества В. Маяковского представляется возможным выделить основные параметры данного контекста: **социологический** (работы И. Бунина, Вл. Ходасевича, Г. Иванова), **нравственно-религиозный** (Н. Оцуп), **эстетический** (М. Цветаева, Р. Якобсон, Г. Адамович) и некоторые др. Систематизируя многочисленные публикации о Маяковском, можно выделить три основные группы.

В первой группе публикаций и личность поэта, и его творчество в целом встречают крайне негативное отношение. Так, один из наиболее авторитетных представителей эмиграции И. А. Бунин осуждал Маяковского как «самого низкого, самого циничного и вредного слугу советского людоедства» [Бунин 1950: 335], и, анализируя его творчество, полностью отрицал талант поэта «Маяковский – величайший хулиган русской литературы» [Бунин: Публицистика, 2000].

Другой национал – консерватор, русский профессор А. Л. Погодин характеризовал творческий путь Маяковского как сплошную «карамазовщину», сделку его совести с сатанинским режимом. Это раздвоение и означало постепенную деградацию и гибель поэта. Совершенно особую позицию по отношению к В. Маяковскому занимал поэт В. Ходасевич. Признавая за В. Маяковским литературный талант, критик рассматривал творчество В. Маяковского

в качестве рифмованного эквивалента идеологии Советов. По мнению В. Ходасевича, В. Маяковский утрачивал индивидуально – творческие черты и олицетворял «разрушителя и осквернителя русской поэзии», который и в литературе, и в политике связал себя с погромом, а не с революционным обновлением. Враждебность критика объяснялась тем, что Маяковский «свой несомненный талант обратил на дурные цели» [Ходасевич 1927: 4].

Ко второй группе публикаций о Маяковском можно отнести воспоминания таких своеобразных личностей, как М. И. Цветаева, Л. Д. Троцкого, а также свидетельства людей, оставшихся верными леводемократическим, авангардистским идеалам своей юности, общей с Маяковским (Д. Бурлюк, И. Северянин, Ю. Анненков). М. И. Цветаева стремилась осмыслить место Маяковского в «стане мировых поэтов». Путь «творца пролетарского эпоса» казался ей истинным, выводящим из замкнутости к толпам, из прошлого – к будущему...», – писала поэтесса в своей статье «Эпос и лирика современной России» [Цветаева 1933: 29].

Работа Л. Д. Троцкого о Маяковском в сборнике «Литература и революция» – это аналитическое рассуждение о русском футуризме, его истоках, отличительных чертах и Маяковском как наиболее характерном и талантливым его выразителе. Признавая его поэтический талант, Л. Д. Троцкий дает В. Маяковскому высокую оценку: «Он умеет поворачивать много раз виденные вещи под таким углом, что они кажутся новыми. Он владеет словом и словарем, как смелый мастер, работающий по собственным законам, независимо от того, нравится ли нам его мастерство или нет. Многие его образы, обороты, выражения вошли в литературу и останутся в ней если не навсегда, то надолго». В своей работе Л. Д. Троцкий отмечает неоспоримое влияние Маяковского на ряд пролетарских поэтов и приходит к заключению, что «вряд ли теперь возможно начисто отрицать футуристические достижения в области искусства, особенно поэзии. За самыми небольшими изъятиями, вся наша нынешняя поэзия прямо или косвенно подверглась воздействию футуризма». Таким образом, автор выделяет серьезный потенциал футуризма, особенно в формальном обновлении поэзии (борьба против старого поэтического словаря и синтаксиса, работа в области ритма и рифмы) [Троцкий 1924: 106].

Что касается высказываний бывших «левых» поэтов о Маяковском, то в них, чаще всего, преобладали ностальгически – воспоминательные мотивы, а не оценка советского поэта Маяковского 1920-х годов.

К последней группе работ относятся публикации, где Маяковский, поэт, лишенный свободы, понят как фигура трагическая. О духовном кризисе поэта, не сумевшего примирить позитивистскую «религию прогресса» и социальной революции с внутренне необходимыми ему традиционными нравственными ценностями, убедительно писали М. Слоним, Д. Святополк-Мирский, Г. П. Струве. Они решали проблемы традиционного и новаторского в поэзии Маяковского, проблемы соотношения литературного и политического авангарда. Их работам свойственен, главным образом, объективно – критический подход и широкий контекст рассматриваемого явления. Исследователи стремились

понять и оправдать поэта, чье послеоктябрьское творчество было в основе своей им чуждо и тематически, и идейно. «...В лице Маяковского поэзия, всего тесней связанная с революцией, но полностью исчерпанная и упершаяся в тупик, сама на себя наложила руки...», – так писал в своей работе «О поэтах и поэзии» известный литературный критик В. В. Вейдле.

Несмотря на негативную в целом оценку Маяковского в критике русского зарубежья, его оппоненты высказали ряд существенных замечаний о личности и творчестве поэта. Сегодня настал важный момент для определения места поэта в истории русской литературы XX века. Литературно-критические оценки французских исследователей и деятелей первой русской эмиграции позволяют найти новые убедительные аргументы в пользу ценности этого явления и его дальнейшего исследования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- БАЛАШОВА, Т. В. (1982): *Французская поэзия XX века*. М., Наука, с. 383.
- БУНИН, И. (1950): *Маяковский*. In: Воспоминания. Париж: БИ, с.335.
- БУНИН, И. (2000): *Публицистика*. М.
- КАЦИС, Л. Ф. (2000): *Владимир Маяковский: поэт в интеллектуальном контексте эпохи*. М., с. 20.
- ЛЕВИНСОН, А. (1993): *Поэзия в Советской России. Самоубийство Маяковского*. In: Литературная Россия, № 26–27, с.14–15.
- В. В. Маяковский: *pro et contra: личность и творчество В. Маяковского в оценке современников и исследователей*: антология / Северо-Запад. Рус. Христиан. гуманист. акад., сост. В. Н. Дядичев, 2006, СПб.
- САРНОВ, Б. (2006): *Маяковский. Самоубийство*. М.: Эксмо.
- СЕЛЕЗНЕВ, Л. (2003): *Творчество В. В. Маяковского в оценке деятелей первой русской эмиграции. Библиография*. In: Маяковский продолжается // Сб. науч. ст. и публ. арх. мат., М., с. 283.
- «Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века. Новые задачи и пути исследования», М., ИМЛИ РАН, 2008.
- ТЕРЕХИНА, В. Н., ЗИМЕНКОВ, А. П. (1992): *Маяковский в критике русского зарубежья*. In: Вестник МГУ, Серия 9, филология, 1992, № 4. С. 65–83.
- ТЕРЕХИНА, В. Н. (1992): *Первая эмиграция о Маяковском*. In: Литературное обозрение. 1992, № 3, с. 33–45.
- ТРОЦКИЙ, Л. Д. (1924): *Литература и революция*. М., 1924, с. 106.
- ХОДАСЕВИЧ, Вл. (1927): *Декольтированная лошадь*. In: Возрождение. Париж.1 сентября.
- ЦВЕТАЕВА, М. (1933): *Эпос и лирика современной России*. In: Новый град, № 6, с. 29.
- ЯНГФЕЛЬДТ, Б. (2009): *Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг*. М.: Колибри.
- ARAGON, L. (1955): *Shakespeare et Maïakovski*. In: Litteratures sovietiques, P., Editions Denoel, p. 297–358.
- ALTMAN, G. (1930): *Sur la mort du poete Vladimir Maïakovski. Chroniques. Comptes rendus. Notes*. In: Europe, p. 105–111.
- BATY, L. (1940): *Le meilleur poete de notre époque*. In: La litterature internationale, P., № 4, Pp. 92–98.
- GAUCHERON, J. (1953): *Majakovsky present*. In: La nouvelle critique, P., № 42, Pp. 80–95.
- KEREL, F. (1959): *Maïakovski vivant*. In: Europe, P., № 358–359, p. 250–254.
- LEVINSON, A. (1922): *La litterature russe actuelle. Guerre. Revolution. Exile*. P.
- LEHRMANN, Gr. (1942): *De Marinetti a Maïakovski. Destins d'un mouvement litteraire occidental en Russie*. Fr.
- NAKHIMSON, L. (1936): *Sur Maïakovski*. In: La litterature internationale, P., № 2, p. 83–86.
- PARNAC, V. (1926): *Les Poetesrusses d'aujourd'hui*. In: Europe, P., 15 avr., p. 493–507.
- PARNAC, V. (1928): *Sur la jeune poesie russe*. In: La Nouvelle revue fransaise, P., p. 708–712.
- POZNER, V. (1929): *Panorama de la litterature russe contemporaine*. P., Ed. Kra, p. 277–282.
- POZNER, V. (1930): *Vladimir Maïakovski*. In: La Nouvelle revue francaise, P., p. 915–918.
- POUTERMAN, J. (1939): *Vladimir Maïakovski*. In: Commune, P., № 69, p. 629–939.
- SORIA, G. (1952): *Vers et Proses de Majakovsky*. In: Europe, P., № 83–84, p. 249.
- TRIOLET, E. (1939): *Majakovski, poete russe. Souvenirs*. P., Ed. sociales Internationales, 27.

MARTINA PÁLUŠOVÁ

Česká republika, Olomouc

DIVADELNÍ HRA „SLEPICE“ NIKOLAJE KOLJADY V PŘEKLADU GABRIELY PALLYOVÉ

ABSTRACT:

The article deals with the translation of Kolyada's play *Kurica* to the Czech language. It maps the role of the translator in creation of perception of the play in the Czech Republic and explores the question of acceptance or refusal of the playwright in the Czech theatrical system and translated literature. The article also discusses how much translation of theatrical plays is influenced by the translator's knowledge of theatre and its rules and the staging procedure. The article also concentrate on the quality of the translation.

KEY WORDS:

Contemporary drama – Russian drama – translation – translational analysis – translation quality – cultural space – reception and apperception of translated texts – translation process.

Česká překladatelka a dramaturgyně slovenského původu má na svém kontě překlady tří her Nikolaje Koljady. Překladům tohoto dramatika se začala věnovat ještě za studií na pražské Divadelní akademii múzických umění. Je autorkou několika článků, které se věnují jeho tvorbě, přeložila také studii Nauma Lejdermana *Okraje věčnosti, aneb mezi černuchou a světlem*, jež se zabývá hrami Nikolaje Koljady.

Nikolaj Koljada (nar. 1957) je autorem téměř stovky divadelních her a na současných ruských scénách se řadí k nejhranějším dramatikům. V ruských divadlech byla inscenována téměř polovina jeho dramát, řada z nich se scénické podoby dočkala také v zahraničí. Divadelní hry začal Koljada psát v období tzv. „glasnosti“ krátce po přestavbě. Jeho raná tvorba se řadí do „šokové dramatiky nové vlny“, podobně jako tvorba o něco starší Ludmily Petruševské. Kritika jeho tvorbu ze začátku zatracovala za přílišnou naturalističnost až fotografičnost a žánr jeho her označovala termínem „černý realismus“.¹ Pozdější Koljadovy hry se vyznačují větší hloubkou a psychologismem.

K nejznámějším scénickým realizacím Koljadových her patří moskevské inscenace režisérů Galiny Volčkové a Romana Vikťuka, svoje hry inscenuje autor také sám, ve

¹ Tento termín se později vyvinul v označení „černucha“, které mělo negativní podtón.

svém Koljada Teatru v Jekatěrinburgu. Jeho dramata se však objevují na divadelních jevištích po celém Rusku.

V České republice můžeme scénické realizace jeho her spočítat na prstech jedné ruky. Nejznámější inscenací Koljadovy hry je *Slepice* z pražského Švandova divadla v režii ruského režiséra (často hostujícího v českých divadlech) Sergeje Fedotova (r. 2006). Nebyť této inscenace, která v podstatě uvedla na naše scény ve své vlasti již velmi známého autora, Koljada by byl pro českého diváka zcela neznámý. Po této inscenaci se jeho hry začaly více překládat,² žádný z překladů však zatím nevyšel knižně, pouze jedna jeho hra (*Slepice*) se objevila v časopise *Druhý břeh*, který vydává Švandovo divadlo; českých inscenací Koljadových her je také velmi málo.³

Většina Koljadových dramát má podobnou výstavbu; stručně bychom je mohli charakterizovat jako řemeslně dobře napsané hry. Dramatik působí také jako pedagog v Jekatěrinburgském divadelním institutu, kde vede seminář tvůrčího psaní.⁴ Na tomto semináři učí mladé studenty, jak napsat dobrou hru. Sám o tom říká toto: „*Jsou i jiná tajemství řemesla: Na první stránce se musejí osoby navzájem pojmenovat – divák musí vědět, jak se kdo jmenuje. První stránka také musí dát odpověď na otázku, proč se všichni sešli na jednom místě, co se odehrálo do otevření opony. Výchozí setkání – už jsem své studenty tímto svým termínem zmučil. Studenti to žertem nazývají ‚bezvýhodné setkání‘. Divák musí pochopit, o čem se na scéně mluví a kdo mluví ke komu. První dějství musí být delší než druhé – tak je uzpůsoben divák. Na konci prvního dějství se nutně musí zařvat, zakřičet, rozrušit se, aby divák o přestávce neodešel.*“⁵ Sám autor tento princip ve svých hrách důsledně uplatňuje. Dramatik se také netají tím, že jeho tvorba je ovlivněna dílem ruského klasika Antona Pavloviče Čechova a amerického dramatika Tennesseeho Williamse.

Podobně jako ve Williamsových hrách se také většina Koljadových her odehrává v provincii, obvykle někde na předměstí, ve zchátralých domech nebo bytech. Postavy žijí v příšerných podmínkách, aniž by si to uvědomovaly. Až teprve člověk, který přijde z venku, jim otevře oči. A právě tím často začíná konflikt.

Důležitým rysem Koljadových her je detailní vykreslení prostředí, obzvlášť v rozsáhlých úvodních scénických poznámkách. V těch také bývají popsány různé monotónní zvuky, které se na daném místě ozývají a několikrát se v průběhu děje vrací, aniž by si je postavy uvědomovaly.

Témata Koljadových her nejsou většinou nijak vznešená. Dramatik zobrazuje běžné problémy malých ruských lidí. Sám k tomu říká: „*Для меня нынешнего эти герои, эти люди не социальный сор. В их бедах сама жизнь, всякий раз подтверждающая вечные земные истины.*“⁶

² V češtině máme např. Koljadovy hry: *Slepice*, *Murlin Munro*, *Polonéza Oginského* či *Tutanchamon*.

³ K významnějším počínům patří například inscenace *Polonézy Oginského* v Divadle Na Zábradlí mladého režiséra Jana Friče, *Murlin Murlo* (Špilovská *Marilyn Monroe*) ve Strašnickém divadle v režii Michala Langa či nejnovější inscenace Koljadovy hry *Amigo* v ostravském divadle Aréna v režii Ivana Krejčího.

⁴ Jeho žáky byla řada dnes již slavných ruských dramatiků jako např. autor sociálních dramát Vasilij Sigarev, Oleg Bogajev apod. <http://www.svandovodivadlo.cz/res/data/074/008019.pdf>

⁵ Palyová, G.: *Tisková zpráva k inscenaci Slepice* [online], Švandovo divadlo 2006. Dostupné z: [cit. 2012-08-27].

⁶ *Souremennaja dramaturgija*. 1991/2, s. 210.

Koljada patří ke starší generaci současných dramatiků a sám vystupuje proti tomu, aby jeho hry byly zařazovány k tzv. novému dramatu, pro které jsou charakteristická vyhrocená témata, substandardní jazykové prostředky a hlavně vulgární a obscenní lexikum. Přesto právě jazyk jeho her bývá nejčastějším terčem kritiků. Koljada píše o „obyčejných“ lidech, které nechává promlouvat jejich přirozenou mluvou. „*V promluvách jeho hrdinů nacházejících se v nepřetržitém dialogu, který vedou sami se sebou, se mísí ‚špinavá‘ pouliční řeč plná vulgarismů, slangových výrazů se stylem inklinujícím k literární normě, s poetickými výrazy, nejčastěji citáty z děl klasiků. Toto spojení dvou kontrastních jazykových rovin umožňuje, že i v situaci otevřeně ‚nízké‘ může zaznít například monolog Niny Zarečné (...).*“⁷ Hry jsou tedy prosyceny citáty, nenormativními jazykovými prostředky, vulgarismy, nářečními a slangovými výrazy či nejrůznějšími novotvary (i když Koljada sám tvrdí, že si nikdy nic nevymyslel, ale všechny slovní hříčky, pořekadla, přirovnání apod. odposlouchal z běžného života). Ruští kritici, kteří Koljadu za jazyk jeho her nezatrucují, o něm říkají: „*Словесные массивы Коляды — это наша почва, это русский ритм и наша родословная. Эти тексты когда-нибудь станут изучать как фактуру ушедших времен.*“⁸ Někteří dodávají, že nenormativní a vulgární lexikum v Koljadových hrách je spíše součástí ruského folklóru. Velmi pestrý slovník mají Koljadovy postavy obzvláště v nadávkách. Časté jsou frazeologické jednotky lidového původu. Naum Lejderman o jazyce Koljadových postav říká: „*U Koljady je dramatické samo slovo. Celý slovní masiv je veskrze dialogický. Setkáme se u něj s dialogickým spojením dokonce na fonologické úrovni (Třeští jako Trocký apod.). Nejpodstatnější významový obsah v Koljadových hrách nese dialogičnost na úrovni řečových stylů – toho, který tíhne k literární formě, a nenormativního, sprostého. (...) Bez váhání spojují (postavy, pozn. aut.) do jednotného celku fráze z různých populárních písní, verše, které se učí ve škole, nejvýraznější divadelní monology – všechno to, co se stalo kulturními znaky a časem se proměnilo v banalitu. Přitom jsou tyto citáty komoleny, vstupují do dialogů s původním textem, se slovy zplozenými prozaickou realitou, jsou z výrazně sousedstvím nenormativní frazeologie.*“⁹

Jazyk Koljadových her přispívá k tomu, že jeho postavy jsou živí lidé, se kterými se divák může snadno ztotožnit. Jak obtížné může být pro překladatele vyrovnat se s jazykem tohoto typu, si ukážeme na analýze hry *Slepice*, která byla prvním Koljadovým dramatem, jež bylo v České republice inscenováno.

Hra se odehrává v divadelním prostředí. Hlavní postavy jsou herečky, režisér a úředník oblastního divadla v ruské provincii. Prostředí uměleckého světa je poměrně snadno přenositelné z jedné kultury do jiné, zároveň je to prostředí pro diváky velmi atraktivní a trochu tajemné. Každého přeci zajímá, co se děje „za oponou“.

⁷ Ryčlová, I.: *Pod maskou černuchy: Několik poznámek o Nikolaji Koljadovi*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 39.

⁸ Gromova, M. I.: *Russkaja dramaturgija konca XX – načala XXI veka: učebnoje posobije*. Moskva: Flinta, 2005, s. 194.

⁹ Lejderman, N.: *Okraje věčnosti, aneb mezi černuchou a světlem: O dramatičce Nikolaje Koljady*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 45.

Děj hry začíná ve chvíli, kdy do velmi zaostalého divadla, ve kterém stárnoucí herečky stále hrají Shakespearovy Julie, přijede mladá herečka Nonna, jež ihned dostane přezdívku Slepice. Celý konflikt spočívá v tom, že Slepice svede (nebo se nechá svést, to není pro děj důležité) Vasju, úředníka divadla a manžela dřívější primadony Ally. Když to Alla zjistí, vtrhne brzy ráno do Nonnina bytu v místní dělnické ubytovně, aby si to s ní vyřídlila. Tam ji však nachytá s hlavním režisérem, což je bývalý partner o něco starší herečky místního divadla Diany. V tento moment začíná hra. Alla spustí smršť nejrůznějších nadávek, do kterých se později zapojí i Diana, vše vyústí v pokus Slepice o sebevraždu. Ten je samozřejmě pouze demonstrativní. Na scéně se později objeví i zamilovaný Vasja. Slepice nakonec popadne své věci a rozhodne se z tohoto příšerného maloměsta odjet. Nedojde však dál než na nejbližší lavičku, kde čeká, až se celá situace uklidní. Tím také děj končí. Život postav se vrátí do starých zaběhnutých a hlavně nudných a jednotvárných kolejí.

Hra je rozdělena do dvou dějství, přičemž k vyústění konfliktu dochází „před přestávkou“, na konci prvního dějství. Jméno mladé herečky Nonna je podobné jménu Nina (Zarečná), název hry Slepice a prostředí uměleckého světa mají být analogické Rackovi Antona Pavloviče Čechova. Naivní mládí, čistota a jistá noblesa letu racka Niny Zarečné však silně kontrastují s přizemností, malostí a těžkopádností slepice Nonny Dubovické.

Text hry tvoří několik rovin. Jednak je to hovorová řeč, která je prosycena nejrůznějšími nadávkami, vulgarismy a slovními hříčkami, v pasážích, kdy Alla či Diana ječí na Nonnu. Dále je to rádoby kultivovaná řeč obou hereček v replikách, ve kterých se snaží zdůraznit, že jsou inteligentní a konflikty řeší s klidem. Obě tyto roviny se prolínají dokonce v rámci jedné věty, což je obvykle zdrojem humoru, např.: *„Я тебе говорю, что я не по-жлобски все решаю, а интеллигентно. Вот, извиняюсь перед тобой, хотя тебе, курица, надо было с ходу, прямо от порога – бить морду кирпичом. Потому что у тебя морда кирпича просит, понимаешь? Ну, это – ладно, это – потом. Я очень, очень, очень интеллигентно с тобой разговариваю, курица.“*¹⁰ Třetí rovinou jsou pasáže, které herečky citují ze svých rolí ve chvíli, kdy chtějí nastalou situaci ještě více zdramatizovat (např. monolog Raněvské z Višňového sadu, který Alla pronáší, zatímco Nonna se jde utopit). Děj hry díky tomu vyznívá jako zinscenovaný a do jisté míry paroduje afektovanost hereček, které hrají nejen na jevišti, ale i v životě, např.: *„Алла Ивановна! Алла Ивановна! Успокойтесь, ради Бога! Ну, что тут такого произошло-то? Что такого? Чего нервничать-то? Боже, спаси королеву! Тыфу, то есть, Боже, спаси ее! Сохрани ей жизнь! Господи, сохрани!“*¹¹ Citáty jsou navíc zkomolené, což opět vytváří ironickou propast mezi herečkou a postavou, která je citována.

Slepice má v podtitulu uvedeno, že se jedná o komedii ve dvou dějstvích. Hra je skutečně humorná, až groteskní, v závěru však komedie zhořkne, neboť na konci opět zvítězí maloměstáckost, přizemnost a zbytečnost životů všech postav, kte-

¹⁰ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

¹¹ Tamtéž.

ré, když „vyjdou z role“ a otevřou oči, zjistí, jaké životy vlastně vedou. Nakonec ale opět převládne lenost na tom cokoliv změnit. Přestože už tradiční zápletka milostného trojúhelníku (v této hře můžeme mluvit dokonce o pětiúhelníku) napovídá, že se bude jednat o komedii, hlavním zdrojem komiky je ve hře zejména slovní humor v nadávkách, slovních přestřelkách a emocionálních výlevech.¹²

Jak již bylo řečeno, Koljadovy hry jsou charakteristické zejména specifickým jazykem, kterým postavy promlouvají z jeviště. Pro překladatele musí být takovýto text výzvou. Sám Koljada často překlady svých her kritizuje, v různých rozhovorech si opakovaně stěžoval, že mu překladatelé nerozumějí a že řada překladů je špatných. To bude nejspíš také důvod, proč se inscenace jeho her v zahraničí mnohdy nesetkávají s tak pozitivním ohlasem jako ty ruské. Podíváme se podrobněji, jak si s překladem poradila Gabriela Palyová.

V textu hry se vyskytuje několik tzv. překladatelských oříšků, které mohly při převodu do češtiny způsobit obtíže. Na první pohled nejvýraznější jsou různá přirovnání, nadávky či hanlivá oslovení. Obzvláště v prvním dějství *Slepice* se jich vyskytuje celá řada. Překladatelce se v některých případech podařilo nalézt velmi originální řešení a přitom zachovat humor, který daná replika v originále vyvolává. Tak je tomu například u některých slovních hříčků:

„Сколько в ней такта, ума, тонкости, образованности, культуры-мультиуры! Ах ты, артистка Удмуртского театра имени Леси Украинки...“¹³

Česky:

„Kolik má taktu, rozumu, bystrosti, vzdělání, kultury - bravury! Ty jedna herečko zapadlýho divadla Vidláka Vidlákoviče...“¹⁴

Nebo:

„Пот-ря-са-юще! Вот это номер – я чуть не помер! С ума сойти!“¹⁵

V překladu:

„Ú-žas -ný! To je teda výkon – to tleskám, do stehů se pleskám! Ty bláho!“¹⁶

Případně:

„Ты у меня мухой полетишь отсюда, мухой-цокотухой!“¹⁷

Překlad Gabriely Palyové:

„Poletíš mi voduš jak moucha, jak moucha do capoucha!“¹⁸

¹² Ruský literární vědec Naum Lazarjevič Lejderman dokonce nahlíží na slovní humor Nikolaje Koljady prizmatem lidové smíchové kultury; v Koljadových hrách rozlišuje dva plány: existenciální a karnevalový.

¹³ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

¹⁴ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

¹⁵ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

¹⁶ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

¹⁷ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

¹⁸ Koljada, Nikolaj. *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

V některých případech přistoupila Palyová k obzvláště tvůrčímu překladatelskému řešení, avšak až příliš se vzdálila originálu:

„*Ой, не могу я. Ой, не могу. Держите меня четверо. Ой, не могу. Куда я попала. В сумасшедшем доме манной кашей голову моют. И в валенок ходят.*“¹⁹

Český překlad:

„*Ne, já nemůžu. Nemůžu. Držte mě čtyři. Já nemůžu. Kam jsem se to dostala. V blázinci Napoleoni telefonujou deštníkama. A smrkaj do rukávů.*“²⁰

V tomto konkrétním případě je překladatelčino tvůrčí řešení nemotivované. Naopak v některých replikách Palyová často pouze doslovně překládá ruský výraz do češtiny. To je někdy funkční, např.:

„*Что ты выпучила глаза, как бешеная селедка?*“²¹

Česky:

„*Cos vypoučila voči jak šílenej slaneček?*“²²

Případně také:

„*Ну и как вы спали? Мухи вас не обосралу?*“²³

V překladu:

„*No a jakpak jste se vyspali? Mouchy na vás nesraly?*“²⁴

Někdy naopak toto řešení svou funkčnost ztrácí, např.:

„*Спят себе, голубки. Трын-трава им. Замечательно-с! Лабардан-с, лабардан-с! Ну, что же.*“²⁵

Česky:

„*Spínají tady, hrdličky. Všechno je jim putna. Nádhera! Labardan-s, labardan-s! Nu což!*“²⁶

V této replice se dokonce záměr autora vytrácí zcela, neboť český recipient jí nemůže rozumět. Jedná se o narážku na Gogolova *Revizora*:

¹⁹ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

²⁰ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 49.

²¹ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

²² Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 49.

²³ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

²⁴ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

²⁵ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

²⁶ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 49.

„Хлестаков. Я люблю поестъ. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович (подбегая). Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?²⁷

Replika vystihuje lhostejnost Chlestakova k tomu, že hodoval mezi nemocnými chudáky. Český překlad Bohumila Mathesia zní:

„Chlestakov. Já rád dobře jím. Konečně člověk žije proto, aby trhal květy rozkoše a požitku. Jak se jmenovala ta ryba?

Artěmij Filipovič (přiběhne): Labardan, prosím.

Chlestakov. Moc chutná ryba. Kde jsme to snídali? V nemocnici, že?²⁸

Ale v překladu Zdeňka Mahlera, který se v současné době inscenuje častěji, už je Labardan (česky treska) nahrazen Lamprédou (česky mihule říční):

„Chlestakov. Já se rád dobře najím. Vždyť proto je člověk na světě, aby trhal plody ze stromů požitku. Jak se jmenovala ta ryba?

Špitální rada. (přiskočí) Lampréda, prosím.

Chlestakov. Moc dobrá. Kdepak jsme to byli na svačině? V nemocnici, co?²⁹

Český recipient nedokáže tuto narážku na *Revizora* rozklíčovat a význam celé repliky mu tak zůstane skryt. Podobně je tomu také v následujícím příkladu:

„Меня, Федор Ильич, пропустили сюда точно так же, как и вас. Тем же ходом, тем же проходом. Тем же Ругон-Макаром. Через двери. Или вы, Федор Ильич, сюда на ночевку, на лежбище, на стоянку, на случку, если не сказать хуже, через окно забираетесь?³⁰

Česky:

„Mě sem, Fjodore Iljiči, pustili přesně tak, jako vás. Stejným vchodem, stejným průchodem. Stejným fakem-pakem. Dveřma. Nebo vy, Fjodore Iljiči, sem na nocleh, na lůžko, na stanoviště, na připouštění - nemám-li se vyjádřit hůř – snad lezete oknem?³¹

Tato replika naráží na francouzského klasika Émila Zolu a jeho cyklus románů o rodu Rougon-Macquartů (*Les Rougon-Macquarts*) s podtitulem „Přírodopisná a sociální studie jedné rodiny za druhého císařství“. Součástí tohoto cyklu je také román *Nana*, na který Koljada naráží o několik replik níž:

„Нет, не так надо говорить! Не “Нонна”, а “Нана”, как говорил великий Золя! Нана самая натуральная! Кто хочет – на!³²

V překladatelčině řešení (fakem-pakem) se opět tato narážka ztrácí.

²⁷ Gogol, N. V.: *Revizor* [online]. Dostupné z: http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.shtml. [cit. 2012-09-21].

²⁸ Gogol, N. V.: *Revizor*, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1959.

²⁹ Gogol, N. V.: *Revizor*. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2010.

³⁰ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

³¹ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 49.

³² Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

V překladu se vyskytují také případy, kdy Palyová kalkuje ruský výraz, který má však v češtině jiné významové konotace. Přesto replika vyvolává u diváků smích (viz: záznam inscenace *Slepice* ze Švandova divadla), takže překlad je v podstatě funkční:

„Не работала ты пока еще в Сарануле, в Глазове, в Воткинске, в Каракулине? Не работала?!“³³

V českém překladu:

„A nehrála jsi nikdy ve Sračkově, v Pitomcově, v Hnusově, v Karkulíně? Ne, nehrála?!“³⁴

V další replice přistupuje dokonce k transkripci ruského výrazu:

„Сейчас сядешь на паровоз и поедешь, поработаешь в Саранул. (...) Все! Баста! Каюк! Амба! Финиш!! Киздеу подкрался незаметно! Конец фильма! Ценок амьлиф! Поняла??!!“³⁵

V překladu:

„Teď sedneš na vlak a pojedíš si zamakat do Sračkova. (...) Hotovo! Dost! Šmitec! Utrum! Finito!! Kaněc fiľmá! Fiľmá kaněc. Chápeš??!!“³⁶

Překladatelka použila místo autorova řešení přepsání slovního spojení pozpátku *Ценок амьлиф* pouze postpozici substantiva *Fiľmá kaněc*. Překladatelka navíc chybně vyznačila přízvuk. Budeme-li funkčnost české repliky posuzovat na základě reakcí publika, musíme i v tomto případě opět překladatelské řešení považovat za funkční.

V některých replikách se z českého textu do jisté míry vytrácí expresivita originálního výrazu, např.:

„Давай, курица, собирайся, давай. Давай. На шайтан-арбу и – вперед. Сматывайся отсюда, куда хочешь. Уезжай подальше, куда ворон костей не заносил.“³⁷

Česky:

„Dělej, slepice, seber se, dělej. Dělej. Na šajtan-arbu, na pekelnou káru a - jedem. Pakuj se vodsud', kam chceš. Jed' hodně daleko, kde lišky dávají dobrou noc.“³⁸

V první větě je v překladu vhodně rozšířen informační základ (*Na šajtan-arbu, na pekelnou káru*); z překladu je tak více zřejmé, že chce Alla posadit Nonnu na vlak. *Kde lišky dávají dobrou noc* je krásný český výraz, který vystihuje smysl originálního spojení *куда ворон костей не заносил*, ale ne jeho expresivitu.

Často se však překladatelce míru expresivity daří zachovat, např.:

³³ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

³⁴ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

³⁵ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

³⁶ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

³⁷ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

³⁸ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 47.

„Ишь ты, реже-сёр... Часто-сёр! В норму-сёр!“³⁹

V překladu:

„Ty jseš Reži-sér... Hovno-sér! Připo-sér!“⁴⁰

V textu se vyskytuje také řada reálií. Překladatelka se s nimi vyrovnává různě. Například v následujícím příkladu přistoupila k zajímavému řešení, kdy ruskou reálii nahradila poměrně adekvátní českou reálií, kterou navíc „porušila“:

„Сколько в ней такта, ума, тонкости, образованности, культуры-мультуры! Ах ты, артистка Удмуртского театра имени Леси Украинки...“⁴¹

Řešení Gabriely Palyové:

„Kolik má taktu, rozumu, bystrosti, vzdělání, kultury – bravury! Ty jedna herečko zapadlýho divadla Vidláka Vidláковиče...“⁴²

Jedním z témat *Slepice* je střet dvou světů – reálného a fiktivního, přízemního a vznešeného. Herci, kteří žijí svými rolemi, vcitují se do nich a citují různé pasáže jejich textu, se střetávají s přízemní a ošuntělou realitou ruského maloměsta, kde i úředník divadla může aspirovat na herce. Z toho důvodu v textu hry často v rámci jedné repliky kontrastují knižní výrazy s hovorovou řečí, např:

„И то, что он мне поведal, это, конечно, удар в лоб! Ниже пояса удар! В промежность удар! Ну, ты уби-ила бобра, подруга! Нет, посмотрите только, товарищи, на кого он польстилсЯ? Боже ж ты мой! Мрак! Ужас! Ничтожная актрисуля! Пищит, как мышь! С ее голосом в туалете кричать: „Занято!“, Кушать подано! Подает надежды и подносы! Вы посмотрите на нее! На голове – три волосинки в шесть рядов! Простите за выражение, но ведь ни сиськи, ни письки – одна арматура! Сзади пионерка, спереди – пенсионерка!“⁴³

V překladu:

„A co mi vypřávil, byla samozřejmě rána do hlavy! Rána pod pás! Úder do slabin! Ale tos narazila na rozbušku, děvenko! Ne, jenom se podívejte, soudruzí, na koho zabral? Můj ty Bože! Hnus! Hruža! Nejnicotnější herečka! Piští jako myš! S tím svým hlasem by mohla křičet na záchodě: „Vobsazeno!“ Němá tvář! Slibná herečka na podávání rekvizit a táců. Podívejte se na ní! Na hlavě to má tři vlásky v šesti řadách! Vodpusťte mi ten výraz, ale vždyť nemá ani prdel ani prsa – jenom konstrukce! Ze zadu lyceum, zepředu – muzeum!“⁴⁴

³⁹ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

⁴⁰ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

⁴¹ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

⁴² Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

⁴³ Koljada, N.: *Kurica* [online], 1989. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].

⁴⁴ Koljada, N.: *Slepice*. In: Druhý břeh, časopis Švandova divadla, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 48.

V uvedeném příkladu (podobných se v textu vyskytuje celá řada) kontrastuje zastaralé knižní slovo *поведать* s frazeologismem *убить бобра*. Překladatelka zastaralý výraz přeložila jako *vypřávil*, přestože by se našel adekvátní výraz i v češtině, například sloveso *dít* či *pravit*. Ruský frazeologismus *убить бобра* přeložila Palyová velmi tvůrčím způsobem spojením *narazit na rozbušku*. Přestože Rusko-český frazeologický slovník Ludmily Stěpanové nabízí české výrazy *přepočítat se* či *střelit kozla*⁴⁵ a *narazit na rozbušku* není frazeologismus ani ustálené slovní spojení, zachovává si replika význam i humor, takže řešení je opět funkční. Zmíněný kontrast stylů se však vytratil.

Další výraz v této replice *Ни сиськи, ни письки* je ve slovníku *Большой словарь русских поговорок* objasněn takto: „*Вульг.-прост. Шутл.-ирон. О невзрачной, тщедушной женщине.*“⁴⁶ V češtině by bylo možné nalézt ustálená spojení jako např.: *Vždyť je jako kost a kůže, vypadá jak smrtka* apod., která jsou však stylisticky neutrální.

Slovník ruského argotu vysvětluje výraz *Сзади пионерка, спереди пенсионерка* takto: „*о пожилой женщине с хорошо сохранившейся фигурой.*“⁴⁷ Překladatelka se ruské ustálené spojení pokusila kompenzovat frazeologickým novotvarem *zezadu lyceum, zepředu – muzeum*, který však (kvůli překladu předchozího spojení *nemá ani prdel ani prsa – jenom konstrukce*) nevyvolává adekvátní asociaci.

V českém překladu se vyskytuje také řada interferencí pod vlivem ruštiny, jako například zachování zdvojnásobení (např.: *kufříček, kastrůlek*), přenesení slovosledu a syntaktických vazeb charakteristických pro ruštinu do cílového jazyka (např.: „*Vasja: Jenom tady, v tomhle pokoji jsem byl před mnoha lety šťastný! A celou zbývající dobu života s tebou – muka!*“⁴⁸, místo: *Ale celý zbytek života s tebou byla muka*), emocionálně zabarvená (familiární) oslovení (např.: *drahoušku, miláčku*) a podobně.

Překládat Koljadovy hry je náročná a mnohdy mravenčí práce. K řadě výrazů a ustálených slovních spojení není snadné nalézt adekvátní českou variantu tak, aby byl zachován smysl a zároveň funkce dané repliky. Překlad Gabriely Palyové je v mnohých ohledech kvalitní, velmi nápaditý, plný originálních řešení, zároveň zachovává slovní humor i hořké vyznění komedie. O překládání Koljadových her Gabriely Palyové říká: „*Postupně jsem začala v hrách nacházet skrytý humor a až dokonalost dialogů. Začalo mě nesmírně bavit překládat slovní hříčky, které se objevu-*

⁴⁵ Stěpanova, L. (2007): *Rusko-český frazeologický slovník*. Univerzita Palackého, Olomouc.

⁴⁶ Mokijenko, V. M., Nikitina, T. G. (2007): *Boľšoj slovar' russkich pogovorok* [online]. Olma media group. Dostupné z: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/42338/%D0%9D%D0%B8>, [cit. 2012-08-29].

⁴⁷ Spravočno-informacionnyj portal Gramota.ru. Dostupné z: http://www.gramota.ru/slovari/argo/53_12490, [cit. 2012-08-27].

⁴⁸ Koljada, N.: *Slepice*. In: *Druhý břeh: časopis Švandova divadla*, ročník III, číslo 6, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha 2005, s. 61.

jí v hrách Nikolaje Koljady, a hlavně nezvyklý humor, se kterým jsem se nesetkala v žádných hrách z poslední doby.“⁴⁹

Úspěch většiny divadelních her Nikolaje Koljady je, jak jsme uvedli už výše, založen z velké části právě na jazyce a pevném zasazení děje her do konkrétního prostředí ruského maloměsta. Mladý režisér, který uvedl Koljadovu hru *Polonéza Ogiňského* v Divadle Na zábradlí, k této zasazenosti do ruského prostředí říká: „Hra byla napsaná v 90. letech v Rusku, pro ruské divadlo a pro ruského herce. Zásadní témata, která se tam řeší, jsou spojená s pádem Sovětského svazu a s vyrovnáním se s tím běžných Rusů, což je velmi těžko přenositelné. To byl taky jeden z důvodů, proč jsme hodně váhali, jestli ji uvést nebo ne.“⁵⁰

V roce 2011 uvedlo hru *Slepice* Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích v režii Michala Langa. V recenzi na inscenaci se dočteme: „Komédie okouzlí zejména slovními obraty, které jsou někdy lehce vulgární, ale nelze jim upírat nadhled, vtip a inteligenci. To, s jakou nonšalantností dokáže přejít například Daniela Bambasová představující Allu z vznešeného jazyka k nadávkám a zase zpět, je úžasné. Stejně rychle si i „vybavuje“ různé role, v nichž hrála, a snad její láska k divadlu jí nedovolí je nezapojit, byť jen v běžném hovoru s kamarádkou.“⁵¹

Jak jsme ukázali na analýze překladu hry *Slepice*, převod takového textu do jiného jazykového a kulturního prostředí se neobejde bez jistých ztrát. V souvislosti s překladem Koljadových her by mohla dokonce vyvstat věčná otázka o problematice přeložitelnosti a nepřeložitelnosti a o možnostech překladu a překladatele. Domníváme se, že právě obtížnost přenositelnosti prostředí, témat a hlavně specifických jazykových prostředků Koljadových dramát je hlavní důvod, proč se Koljadovy hry netěší takovému zájmu u českého diváka, jaký by si zasloužily.

POUŽITÁ LITERATURA:

- GOGOL, N. V.: *Revizor* [online]. Dostupné z: http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.shtml. [cit. 2012-09-21].
- GOGOL, N. V. (1959): *Revizor*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
- GOGOL, N. V. (2010): *Revizor*. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur.
- GROMOVA, M. I. (2005): *Russkaja dramaturgija konca XX – načala XXI veka: učebnoje posobije*. Moskva: Flinta, s. 194.
- KOLJADA, N. (1989): *Kurica* [online]. Dostupné z: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2022>, [cit. 2012-08-27].
- KOLJADA, N. (2005): *Slepice*. In: *Druhý břeh, časopis Švandova divadla*, ročník III, číslo 6, Praha: Švandovo divadlo na Smíchově.
- LEJDERMAN, N. (2005): *Okraje věčnosti, aneb mezi černuchou a světlem: O dramatech Nikolaje Koljady*. In: *Druhý břeh, časopis Švandova divadla*, ročník III, číslo 6, Praha: Švandovo divadlo na Smíchově, s. 45.
- MOKIJENKO, V. M., Nikitina, T. G. (2007): *Bolšoj slovar' russkich pogovorok* [online]. Olma media group. Dostupné z: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/42338/%D0%9D%D0%B8>, [cit. 2012-08-29].
- Nikolaj Koljada. *Polonéza Ogiňského* – premiéra. Český rozhlas 3, Mozaika, 15. října 2008, Dostupné z:

⁴⁹Koljada, N. (2005): *Polonéza Ogiňského - premiéra*, Český rozhlas 3, Mozaika, 15. října 2008, Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/nikolaj-koljada-poloneza-ogiskehoho-premiera, [cit. 2012-08-29]. Z rozhlasového archivu zaznamenala M. P.

⁵⁰Koljada, N.: *Polonéza Ogiňského – premiéra*, Český rozhlas 3, Mozaika, 15. října 2008, Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/nikolaj-koljada-poloneza-ogiskehoho-premiera, [cit. 2012-08-29]. Z rozhlasového archivu zaznamenala M. P.

⁵¹*Nikolaj Koljada – Slepice, Jihočeské divadlo – Malé divadlo*. [online] Dostupné z: <http://www.regionalnino-viny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CBU&zid=1289155915&tid=1231196753>, [cit. 2012-08-29]

- http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/nikolaj-koljada-poloneza-ogiskehoho-premiera, [cit. 2012-08-29].
- Nikolaj Koljada – Slepice, Jihočeské divadlo – Malé divadlo. [online] Dostupné z: <http://www.regionalinoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CBU&zid=1289155915&tid=1231196753>, [cit. 2012-08-29]
- PALYOVÁ, G. (2006): *Tisková zpráva k inscenaci Slepice* [online], Švandovo divadlo. Dostupné z: , [cit. 2012-08-27].
- Sovremennaja dramaturgija*. 1991/2, s. 210.
- RYČLOVÁ, I. (2005): *Pod maskou černuchy*: Několik poznámek o Nikolaji Koljadovi. In: *Druhý břeh, časopis Švandova divadla*, ročník III, číslo 6, Praha: Švandovo divadlo na Smíchově, s. 39.
- Spravočno-informacionnyj portal Gramota.ru*. Dostupné z: http://www.gramota.ru/slovari/argo/53_12490, [cit. 2012-08-27].
- STĚPANOVA, L. (2007): *Rusko-český frazeologický slovník*. Olomouc: Univerzita Palackého.

VOJTĚCH PÍCHA

Česká republika, Olomouc

KOZÁCTVÍ UCHOPENÉ IDEOLOGIEMI

ABSTRACT:

The text written basically as an introduction to the author's theses concerning Cossack nationalist identity, is focused on the main Cossack identities based on ideological discourses. Russian imperial, Ukrainian national, Marx-Leninist, Cossack separatist and Russian and Ukrainian post-Soviet discourses are analysed predominantly in relation to Cossack history concepts.

KEY WORDS:

Cossacks – ideology – nationalism – Marx-Leninism – historiography – collective identity – national consciousness – hetmanate – historical discourse humanities.

Otázka kozácké identity není jen problémem doby ruské občanské války nebo ruské klasické prózy. Když po rozpadu sovětského impéria hledala ruská společnost nové modely identity, bylo kozáctvo, jako svého času pronásledované společenství, pro mnohé obyvatele dolního Podoní přirozeným těžištěm identity, na niž bylo možné navázat. Fenomén kozáctví má však i dnes mnohem širší konsekvence – je totiž součástí jak ukrajinského národního vědomí v podobě kozáctva jako prapředka moderního ukrajinského národa,¹ tak v různých podobách figuruje v ruském oficiálním historickém vyprávění, které spoluvytváří národní vědomí Rusů. Mimo to je dnes rozvíjena i myšlenka samostatného kozáckého národa, která se zrodila během první světové války a našla úrodnou půdu mezi pořijnovou kozáckou emigrací.

Následující text, jehož jádro vzniklo jako úvodní část diplomové práce soustředěné právě na kozácký („*volnokozácký*“) nacionalistický diskurz, je pak snahou zorientovat se v textech interpretujících kozáctví z různých ideologických stanovisek. Důraz je kladen na momenty, v nichž se jednotlivé koncepty výrazně rozcházejí. Interpretováním kozáctví přitom myslím například zastávání a prezentování určitého „smyslu kozáckých dějin“, objasňování kořenů specifické kozácké mentality, trvání na určité kozácké misi v budoucnosti nebo pojetí vztahu kozáctva s jej obklopující

¹ Kozácký mýtus se prostřednictvím ukrajinského jazyka perem „mythmakera“ Tarase Ševčenka rozšířil i na území bez historické tradice zkušenosti s kozáky. [Bürgers 2002: 69]

společností. To, že se budeme v rámci tohoto textu pohybovat mezi ideologickými stanovisky pak znamená, že východiskem pro jeho závěry budou texty publicistického a historiografického charakteru, jejichž účelem je interpretace skutečnosti v zájmu určitého fungování světa. Znamená to zároveň, že nebudeme využívat texty umělecké, přestože ty konstruují kolektivní identitu stejně jako ty, které jsem nazval ideologickými. Texty, v nichž umělecká složka převažuje nad ideologickou, zůstanou stranou našeho zájmu proto, že neoplývají takovou přímočarostí a jednoznačností, navíc definovat kozáctvo není jejich primárním účelem a snahy takovou definici z nich vydestilovat se setkávají s neúspěchem.

Kozáci se jako interpretovatelný kulturní fenomén objevili v textech poprvé během první poloviny 19. století, poté co ruská imperiální kavalerie složená především z kozáků uskutečnila svou spanilou jízdu napoleonskou Evropou. Prvním souborem textů s kozáckou tematikou, který je dostatečně objemný na to, abychom z něj mohli vyvozovat závěry pro naše téma, je tak romantická literatura především ruského, ukrajinského a polského jazyka.² V tomto okruhu textů se zrodil kozák jako nezávislá postava rovnostářského ducha, neohrožený voják, jako symbol nespoutanosti a nespoutatelnosti. Takové nejspíš vidíme kozáky na monumentálním Repinově plátně *Odpověď záporožských kozáků sultánu Osmanské říše Mehmedovi IV.* Tyto rysy kozáckých hrdinů se staly kanonickými stereotypy, které byly využity jednotlivými ideologickými interpretacemi, a stály tak u vzniku různých kozáckých identit.

ODKUD POŠLO JEST KOZÁCTVO

Momentem, který vyvolává mezi jednotlivými dějinami kozáctva nejhalasnější kontroverze, je otázka původu kozáků – tedy problém jejich etnických kořenů a doby, ve které se objevili na scéně historie. Spory ohledně počátků určitého fenoménu bývají zpravidla dost vyhrocené – čím hlouběji do historie totiž zacházíme, a tedy čím méně pramenů máme k dispozici, tím širší pole se otevírá možnostem interpretace, kombinatorice hypotéz nebo umnému využití ideologie.

Prvním významným prostředím, v němž se kozáctvo začalo systematictěji popisovat, byla ruská národní (státní) historiografie 19. století. Přestože pochopitelně neměli všichni uznávaní ruští historikové identické názory na původ kozáctva,³ postupně se v tomto prostředí prosadilo tvrzení, že jádro současné kozácké pospolitosti tvoří původně ruské obyvatelstvo, námezdní pracovní síla bez trvalého bydliště, která se slábnutím tatarsko-mongolských státních útvarů na jih od ruských knížectví migrovala do černomořských stepí. Kozáci tak podle tohoto narativu „*představují vrstvu ruské společnosti rozšířené svého času po celé Rusi*“ [Ключевский 1908: kap. XLV] Tuto koncepci pak přebrala i oficiální sovětská marxistická historiografie a obohatila ji o dialektiku třídního boje – ústředním emigrantem z Rusi (a polsko-li-

² O obrazu kozáka v ruské literatuře Deutsch Kornblatt 1992. V ukrajinsky psané literatuře se dá mluvit o romantickém ideálu kozáka spíše v souvislosti s poezií Borovykovského, Metlynského a Ševčenka než s pozdější prozaickou tvorbou, u níž nebyla postava kozáka tak jednoznačná. Viz bakalářskou diplomovou práci Součková 2008. V polské literatuře se pak tvrzení týká především tzv. „szkoły ukraińskiej“.

³ Jevgraf Saveljev, „historiograf donského kozáctva“, si všimá, že například Karamzin uznává existenci kozáků na jižní periferii tehdejšího Ruska před Bátúovou expanzí [Савельев 1918: 2].

tevského státu) se tak stal rolník sužovaný nevolnickým řádem.⁴ Postsovětská debata se podle A. I. Kozlova příliš dál nepohnula a „*vědeckého poznání*“ od počátku 20. století přibýlo „*velmi málo*“, přestože (protože?) byly kozáctvu na různých ideologických stranách věnovány stohy papíru. [Козлов 1996: 54] On sám kritizuje migračně-koloniální teorii, přičemž upozorňuje na světonázorovou spjatost imperiální historiografie a sovětských dějepisců v otázce původu kozáctva s tím, že migračně-koloniální teorie „*v extrémních formulacích odpovídala imperiálním snahám samoděržaví i planetárním cílům nositelů ideje světové revoluce*“. Navzdory své kritice však považuje slovanskou migraci do „divokého pole“ pro vývoj kozáctva za důležitou [Хмелевский 1996: 155–157].

Představa původu kozáků ve vrstvách velkoruské společnosti přirozeně nemohla uspokojit rozvíjející se ukrajinské nacionální hnutí. Jednou z jeho vůdčích osobností byl historik Мухайло Сергійович Хрушевський, jehož monumentální *Dějiny Ukrajiny-Rusi* se staly významným milníkem v procesu geneze ukrajinského národa.⁵ Pro naše téma je tato práce tím důležitější, že Хрушевський považoval „kozácký věk“ - tedy slavnou éru 16. a 17. století, kdy se kozáckému hetmanátu umnou politikou lavírování mezi Moskevskou Rusí, polsko-litevskou Rzeczpospolitou, Krymským chanátem a osmanským sultanátem dařilo zachovávat si téměř státní suverenitu – za určující pro formování moderního ukrajinského národa, a přes romantickou tradici obrazu kozáka se kozáctví stalo, a dosud je, významným prvkem ukrajinské národní sebeidentifikace [Hudson 2001: 173]. Хрушевський pečlivě analyzuje výskyt kozáků v dostupných pramenech, a aniž by trval (jako pozdější i jemu současní „historikové kozáctva“) na zjednodušeně autochtonním charakteru kozáctva na dolním Dněpru a Donu, rozlišuje pojmy „*kozačyna*“, tedy způsob života ve stepi, který se vyvíjel po staletí a který je starý „jako Ukrajina sama“, a „*kozactvo*“ jako organizované společenství, které se vytvořilo během 16. a 17. století, a to mimojiné díky upřímné snaze polskolitevského státu regulovat kozácký živel pravého břehu Dněpru evidencí a privilegií za státní službu, což se podílelo právě na vytvoření právně vymezeného kozáckého společenství. Upozorňuje, že slovo „kozák“ (a jeho fonetické varianty) má v turkických jazycích (uvádí turečtinu, tatarštinu a kumánštinu) význam související s válčením a znamená něco jako zbojník, svobodný člověk nebo voják nízké hodnosti, v některých záznamech je podle něj o kozácích uvedeno explicitně „*lidé různé národnosti*“ [Грушевський 1909: 68–79]. Vedle ruské koncepce zběhlého potulného živlu tak máme „*kozačynu*“, konglomerát turkických kočovníků a slovanské populace, ze které se během 16. a 17. století díky mocenským vlivům v severním Černomoří konstituovalo „*kozactvo*“ jako organizovaná společnost.

⁴ „Kozáci pocházeli převážně ze znevolněného rolnictva, které ... zbíhalo na periferii země s nadějí na lepší životy...“ [Ермолин 1982: 17]

⁵ „Kozáckým věkem“ se zabývá sedmý svazek. [Грушевський 1909] Hugh P. Hudson ve své recenzi naráží na teorii vzniku východoevropských nacionalismů Miroslava Hrocha, když daný Хрушевського svazek charakterizuje ve vztahu ke genezi ukrajinského národního vědomí jako „*vrcholný příklad druhé fáze procesu vytváření moderního nacionalismu*“ – tedy poté, co je jako 1. fáze rozvinuto národní vědomí mezi inteligencí, se národní koncept šíří mezi středostavovskými měšťskými vrstvami především pomocí tisku [Hudson 2001].

Kozlov se ve svém přehledu věnuje rovněž kozácké historiografii, kterou bychom mohli označit jako autochtonistickou. Jde pochopitelně především o produkci z řad samotného kozáctva. Extrémem je například už zmíněný Jevgraf Saveljev, který odvozuje původ kozáků od skythských a sarmatských kmenů [Савельев 1918: 21–36]. Do jisté míry zastává autochtonistické stanovisko i výše citovaný A. A. Gordějev, který spatřuje předky kozáků v lehké mongolské jízdě, jejíž jádro tvořili v době expanze kolem poloviny 13. století především kočovní turkičtí „Kasachové“, kteří se stali vzorem stepního válečníka pro později verbované slovanské obyvatelstvo. Po rozpadu Zlaté hordy pak měli tito nezaměstnaní *kozáci* najít uplatnění ve službě moskevským knížatům. Tato zkušená a disciplinovaná knížecí vojska přitom Gordějev staví do opozice nespolehlivým jednotkám knížecích feudálů - *kozáci* tak byli podle něj oporou centrální moci Moskevské Rusi ještě hluboko v „době knížecí“ [Гордеев 2007: 29–69]. O co se Gordějev v dané hypotéze opíral? V práci uvádí několik obecných monografií, migraci nevyužitých „kozáků“ do centrální Rusi například explicitně roubuje na Ključevského toulavou námezdní pracovní sílu, nicméně A. Šišov v předmluvě k moskevskému vydání Gordějevovy knížky uvádí, že se autor píšící syntézu v pařížské emigraci pochopitelně „*neopíral o archivní dokumenty, ale spíše o své znalosti dějin kozáckých vojsk..., vzpomínky běloemigrantů mezi kozáky, práce vojenských historiků-účastníků Bílého hnutí*“ [Гордеев 2007: 4]. Zpracovaných údajů o životě a myšlenkovém světě A. A. Gordějeva příliš k dispozici nemáme, nicméně na základě informace o jeho vzdělání na Vilniuském vojenském učilišti a jeho působení mezi monarchistickou emigrací lze vyvozovat celkem bezpečný soud o jeho indoktrinaci ruskou imperiální ideologií, která zobrazovala kozáky jako věrné syny vlasti stojící odjakživa na obraně její státnosti.

Těchto několik koncepcí geneze kozáctva je třeba doplnit ještě narativem kozáků nacionalistů. V letech 1927–1928 byla v pražském emigrantském časopise *Volné kozáctvo*, tribuně kozáků-separatistů, publikována série článků dvorního historika volnokozáckého nacionalistického hnutí I. F. Bykadorova s názvem *Původ kozáctva a vznik Svobodných kozáckých vojsk*, v němž autor zeširoka objasňuje slovansko-turkické složení obyvatelstva Kyjevské Rusi, které dalo základ populaci záporožského kozáctva a popisuje etnickou směsici národů Tmutorakaňského knížectví v Přiazoví, která se přerodila v kozáctvo donské [Быкадоров 1927]. Podstatnou náplní polemiky kozáků nacionalistů s ostatními složkami ruské emigrace (včetně kozáků stojících na straně ruské integrity) o dějiny kozáctva pak bylo právě odmítání migračně-koloniálního momentu.

Otázka původu a geneze kozáctva je tak pro jednotlivé narativy jedním ze zásadních témat, i proto, že skýtá široké interpretační možnosti. Ruská oficiální předrevoluční ideologie potřebovala kozáky integrovat do „jednotného a nedělitelného“ ruského národa, marxisté potřebovali uprchlíky před tlakem vládnoucí třídy, ukrajinský nacionalismus stepní osadníky, jejichž životní styl je „starý jako Ukrajina sama“ a *kozáci-nacionalisté* zase autochtonní etnický mix.

PROMĚNA „SVOBODNÉHO KOZÁCTVA“ VE „SLUŽEBNÝ STAV“

Kozácká populace prodělala změnu od statutu příslušníků polonezávislého hetmanátu Bohdana Chmelnyckého (na němž staví ukrajinské národní vědomí)

či Vševelikého vojska donského (na které se odkazují kozáci z dolního Podoní) ke statutu kozáctva jako elity lehké jízdy ruské imperiální armády, jako „osvoboditelů“ bulharských bratří ve víře zpod „tisíciletého osmanského jha“ a jako spolehlivé opory samoděržaví proti jakémukoliv liberálnímu společenskému hnutí dlouhý a diferencovaný vývoj – a to jak teritoriálně (k jednotlivým kozáckým vojskům bylo v průběhu expanze Ruska přístupováno různě), tak sociálně v rámci samotné kozácké společnosti. Pod sociálně rozrůzněným vývojem mám na mysli především připoutání společenské elity kozáků (soustředěné kolem volených atamanů) k samoděržaví privilegii tak, že se z ní stala impériu loajální dědičná šlechta.⁶ Každá z ideologických perspektiv zmíněných výše v souvislosti s otázkou původu kozáků interpretovala samozřejmě tento dlouhodobý proces způsobem sobě vlastním a daný přerod tak představuje téma s nemenším polemickým potenciálem než otázka kozáckých kořenů. Jednotlivé koncepty budou rozvedeny níže. Metoda, kterou zvolil Serhij Plokhly pro zkoumání tohoto fenoménu, nám umožňuje nahlédnout možné motivace špiček kozácké společnosti v daném procesu [Plokhly 2002]. Protože výsledky jeho ikonografické studie vrhají určité světlo na pozdější kontroverzní interpretace procesu připoutávání kozáků ke státu (které nás zajímají především), bude dobré si je nastínit nyní. Plokhého zajímá, jak byl na území Ukrajiny v sedmnáctém a osmnáctém století na ikonách zobrazován svátek Pokrovu – ačkoliv má totiž v ruském ikonopisectví, stejně jako jiné svátky a konkrétní světcí, ikona Pokrovu relativně pevně danou formu, odchylovala se ukrajinská ikonografie té doby od kánonu a blížila se tak více západnímu realismu v duchovní malbě. Klasický Pokrov (Ochrana) Přesvaté Bohorodičky zobrazuje scénu zjevení Bohorodičky v Blachernském chrámu v Konstantinopoli svatému Ondřeji, pro Krista jurodivému spolu se všemi, kdo se v chrámu modlili při obležení Konstantinopole muslimy. V horní části chrámu je zpodobněna vznášející se Matka Boží v doprovodu Jana Křtitele a Jana Evangelisty, pod nimi obligátně jurodivý Ondřej, jeho učedník Epifanos, císař s císařovnou (Lev Moudrý a Zoe) a další věřící. Plokhly si ale všiml, že zmíněná „úpadkovost“ ikonopisectví na Ukrajině, jak levobřežní, tak pravobřežní, umožňovala mecenášům na pokrovských ikonách objednávat vedle/místo císařského páru, nejvyššího kléru a dalších příslušníků byzantské elity portréty sebe sama (autor uvádí například Semena Sulymu držícího v letech 1739–1766 významný úřad v Perejaslavi)⁷ nebo dokonce současné ruské imperátory ve snaze zalíbit se nadřizené moci.⁸ [Plokhly 2002: 60–62] Po „Poltavské zradě“ hetmana Ivana Mazepy už totiž nebylo možné pomýšlet na autonomní hetmanát, maloruská ideologie se stala jedinou povolenou a Petr I. přikročil k důrazné centralizaci úřadů – cestou k moci tak už pro kozácké elity nebylo zdůrazňování doby hetmana Chmeľnyckého jako spíš kult romanovských imperátorů. V perejaslavském pokrovském chrámu bychom tak do 30. let minulého

⁶ Na nejpočetnějším donském kozáctvu tento proces zkoumá Menning 1980.

⁷ Ikona ze Sulymivky je porovnána s dochovaným portrétem Semena Sulymy.

⁸ Plokhly se ve studii vztahem dobové ukrajinské ikonografie a moci zabývá komplexněji, studuje zobrazování Chmeľnyckého, romanovské emblematiky, nového petrovského úřednictva (zmíněný Semen Sulyma) a dokonce samotných monarchů – jak ruských Romanovců na levém, tak například Jana III. Sobieského, polsko-litovského (nevěřícího! = katolík) krále, na pravobřežní Ukrajině náležející Reczpospolitě.

století, kdy byl zničen, našli nad oltářem ikonu Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, pod jejímž *maphoriem* zaujímá místo konstantinopolského císařského páru Petr I. s chotí Kateřinou. Tolik k hypotézám zkonstruovaným na základě bezděčných výpovědí ukrajinských ikon.

Pozdější narativy (pozdější než výpovědi ikon) však vidí proces vedoucí k využití kozáctva v ruském imperiálním zájmu v jiných světlech. Konceptci A. A. Gordějeva jako bývalého důstojníka carské armády vzdělaného ve státním vojenském učilišti jsem už nastínil výše, byť s navýsost spekulativním pokusem o její výklad. Kozáckou službu ruským imperiálním cílům však neproblematizuje ani dále, podle něj si „byli všichni [kozáci] ekonomicky a sociálně naprosto rovni“ a „ruská vláda tento řád v průběhu dějin nejen nenarušovala, ale všelijak jej podporovala“ [Гордеев 2001: 442].

Hruševskij, jako představitel ukrajinského nacionálního narativu kozáctva, se v tomto smyslu zabývá spíše vlivem státní administrativy polsko-litevské unie na kozáctvo – tvrdí, že právě snaha polsko-litevské vlády o ovládnutí kozáckého živlu zavedením institutu „registrovaného kozáctva“ měla zásadní vliv na etablování kozáctva jako společensko-politické síly, podobný dopad na levobřežní kozáky měla carská taktika udělování šlechtických titulů. [Hudson 2001: 174] Symptomatický je v tomto ohledu rozdíl mezi tím, jak vnímají samotný akt podřízení se Bohdana Chmelnyckého moskevské suverenitě na tzv. Perejaslavské radě roku 1654 dnešní Ukrajinci a jak současní Rusové. Anketa BBC uskutečněná roku 2000 ukázala, že zatímco pro většinu Ukrajinců je Chmelnyckij rozporuplnou postavou a dohoda v Perejaslavi byla vynucena mezinárodně-politickými vlivy, mezi Rusy je naopak rozšířená jednoznačně pozitivní představa Chmelnyckého jako sjednotitele Rusů a Ukrajinců, pravoslavných Východoslovanů.⁹ [Plochy 2001: 489–505] Zobecníme-li tyto dvě tendence, můžeme o ukrajinském národnostním narativu postátňování kozáctva říci, že jeho počátek vidí v okolnostmi vnucené Perejaslavské radě a za nástroje k jeho provádění považuje uvědomělou snahu politické reprezentace států, na jejichž území se kozáci nacházeli.

Do trojlístku nacionalistických pojetí zeslužebnění kdysi svobodného kozáctva patří vedle ruského (nacionálně-státního) a ukrajinského rovněž hledisko kozácké. Program kozáckých nacionalistů zformulovaný v prvním čísle časopisu *Volné kozáctvo* hlásá, že nastala doba, aby osud kozáků vzali do svých rukou kozáci samotní, vypočítává, jak byli kozáci v průběhu staletí využíváni k mocenským cílům těch či oněch (od polských magnátů přes ruské samoděržce po bílou ofenzívu Děnikinů, Dutovů a Vrangelů) a jak v době vytváření národních států nazrál čas i pro formulaci kozáckých cílů.¹⁰ Toto nahlížení kozáckých dějin, které svým konceptem probuzení se ze služby cizím zájmům nemá daleko od marxistického, se pak vine historickým diskurzem *samostijniků* (separatistů) po celou dobu vydávání časopisu. Když A. I. Kozlov v citované práci navrhuje periodizaci dějin kozáctva, je mu národnostní,

⁹ Plochy ve své studii rozebírá především vliv oficiálních historiografií – ruské nacionálně státní, imperiální, ukrajinské národnostní, sovětské a postsovětských ruské a ukrajinské – na formování veřejného mínění ohledně tohoto mezníku východoevropských dějin a zároveň rusko-ukrajinských vztahů.

¹⁰ Вольное Казачество (bez autora). Вольное Казачество–Вільне Козацтво, 10 декабря 1927, № 1, с. 1-3.

respektive etnogenetický prvek důležitým kritériem – nikoli však jako pro kozákanařodovce, ale jako pro badatele, který má na zřeteli důležitou roli národní ideje mezi kozáctvem během 20. století. Periodu 17. a 18. století chápe z tohoto pohledu jako etapu intervence ruského státu do „přirozeného procesu etnogeneze“ kozáctva, kterou nezměnila ani „*nespokojenost s narůstajícím tlakem státu, která se projevila například v účasti kozáků na pugačovském povstání*“ [Хмелевский 1997: 156]. Pozice leninsky marxistické historické vědy k danému procesu je nasnadě: docházelo k utlačování kozáků-rolníků vládnoucí třídou feudální epochy, kterou tvořila jak atamanská elita, tak carské úřednictvo. Je proto jedno, zda vzešly kozácké elity z okruhu formálně volených atamanů, nebo byly (později) dosazovány podle vůle ruského imperátora – byla to táž vládnoucí třída s týmiž třídními zájmy. Jermolin ve své jinak informačně i interpretativně zajímavé monografii cituje obvyklou Leninovu publicistiku jako „*vyčerpávající charakteristiku a analýzu hlavních procesů třídního boje v těchto [kozáckých] oblastech země*“: Lenin objasňuje, že pracující kozáctvo sloužilo svým třídním nepřátelům především kvůli své geografické a stavovské uzavřenosti, typické pro feudální společnosti [Ермолин 1982: 4, 18].

Proces připoutávání kozáků k carské administrativě a armádě (potažmo k administrativě polsko-litevské unie) a jejich působení v zájmech ruského impéria jsme tak nahlédli několika prizmaty. V pojetí ruské státní samoděržavné ideologie (kterou pro nás reprezentuje Gordějev) šlo o přirozenou symbiózu v rámci ruské společnosti (nikoli dvou entit), symbiózu silného státu a přirozeně pořádkumilovné vojenské vrstvy ruského obyvatelstva¹¹ [Гордеев 2001: 518]. Ukrajinský i kozácký nacionální narativ vidí za procesem podřízení kozáků státním cílům aktivní roli ruského státu, a každá ze stran to chápe jako újmu národnímu životu svého národa, přičemž kozácká nacionalistická pozice je formulována jednodušeji a radikálněji („vždy jsme byli zneužívání“), což možná vyplývá jednak ze zjitřené nacionalistické atmosféry meziválečné doby a jednak ze snahy rétorikou „dohnat“ úspěšné státní národy. Leninsko-marxistické dějepisceví nevidí v této etapě změnu podstaty vztahů společenských tříd, protože ty měly tytéž zájmy jako v etapě předchozí, a zda vládnoucí třída vystupovala ve jménu hetmanátu nebo ruského impéria, údajně nehrálo pro vykořisťovanou třídu zásadní roli.

Zjištění, že se slovem „kozák“ můžeme stěží pracovat jako s pojmem, ale spíše s vědomím, že v rámci různých diskurzů je jeho náplň jiná, je pro humanitněvědné bádání sotva něčím novým. Je však třeba jej mít na vědomí při každé práci s texty, které s tímto slovem pracují. Dané diskurzy přitom samozřejmě nejsou uzavřenými celky, kozácká identita se přes veškeré úsilí moci, jež se snažila o její muzealizaci (jde především o sovětský stát), živelně vyvíjí. Současná kozácká hip-hopová scéna v Rostově na Donu tak například podle Nikolaje Procenka cítí, že kozáckou kulturu

¹¹ Gordějev polemizuje s F. D. Krjukovem o původu této kozácké mentality. Zatímco Krjukov ji objasňuje vžitou vojenskou disciplínou kozáckého obyvatelstva, jehož celá bojeschopná mužská část měla být schopna mobilizace, Gordějev hledá „hlubší“ kořeny a nachází je v charakteru knížecího vládnutí během „tatarského jha“: „*národ mohl existovat jen za podmínek pevné... moci knížat a lidové poslušnosti... Na prvním místě jsou potřeby státu, a teprve za nimi osobní štěstí.*“ Aniž bychom toto tvrzení podrobovali jakékoli kritice, už samotný fakt, že kolektivní psychologii kozáctva objasňuje autor politickými dějiny Rusi, naznačuje, že v jeho světovém názoru bylo kozáctvo odjakživa integrální součástí ruské kultury.

„není třeba uchovávat nebo konzervovat, ale rozvíjet“. Rostovský kozácký hudební „underground“ navazující pochopitelně na antibolševismus tak podle něj představuje „rostoucí lokální opozici moci“ – novou kvalitu kozácké identity [Protsenko 2011: 2, 4].

POUŽITÁ LITERATURA:

- BÜRGERS, J. (2002): *Bohdan Chmel'nyč'kyj und der Kosakenmythos in der postsowjetischen Ukraine*. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 50, Stuttgart, s. 62–86.
- DEUTSCH KORNBLATT, J. (1992): *The Cossack Hero in Russian Literature: A Study in Cultural Mythology*. Madison.
- HUDSON, H. P. (2001): *History of Ukraine-Rus', 7, The Cossack Age to 1625 by Mykhailo Hrushevsky, Bohdan Struminski*. The Sixteen Century Journal, Vol. 32, No. 1 (Spring 2001), pp. 173-175.
- MENNING, B. (1980): *The Emergence of a Military-Administrative Elite in the Don Cossack Land, 1708–1836*. In: Pintner, W. – Rowney, D. (eds.): *Russian Officialdom*. Chapel Hill, North Caroline.
- PLOKHY, S. (2001): *The Ghosts of Perejaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-Soviet Era*. Europe-Asia Studies, Vol. 53, No. 3 (May 2001), s. 489–505.
- PLOKHY, S. (2002): *Tsars and Cossacks. A study in iconography*. Cambridge, Massachusets.
- PROTSENKO, N. (2011): *Scenes From the Underground: A Cossacking Good Time*. *Transitions Online*, issue: 04/19 / 2011, pages: 1–4., on www.ceeol.com.
- SOUČKOVÁ, T. (2008): *Kozáctví v poezii ukrajinského romantismu*. [online] Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita. Brno. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/179574/ff_b/BAKALARKA.pdf. [cit. 2012-04-09].
- БЫКАДОРОВ, И. (1927): *Происхождение казачества и возникновение Свободных казачьих войск. Вольное Казачество-Вільне Козацтво*, 25 декабря 1927, №2.
- Вольное Казачество (bez autora). *Вольное Казачество-Вільне Козацтво*, 10 декабря 1927, № 1, с. 1–3.
- ГОРДЕЕВ, А. А. (2007): *История казачества*. М.
- ГРУШЕВСЬКИЙ, М. С. (1909): *Історія України-Руси*. Том VII, Козацькі часи – до року 1625. Київ – Львів.
- ЕРМОЛИН, А. П. (1982): *Революция и казачество*. М.
- КЛЮЧЕВСКИЙ, В. О. (1908): *Курс русской истории*. Часть III. М.
- КОЗЛОВ, А. И. (1996): *Возрождение казачества: история и современность (эволюция, политика, теория)*. Ростов-на-Дону.
- САВЕЛЬЕВ, Е. (1918): *История казачества с древнейших времен до конца XVIII века*. Новочеркасск. [online] Dostupné z WWW: <http://passion-don.org/history-1.html> [cit. 2012-04-10].
- ХМЕЛЕВСКИЙ К.А. (1997): [рец. на:] А. И. КОЗЛОВ. *Возрождение казачества: история и современность (эволюция, политика, теория)*. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета. 1996. 248 с. Вопросы истории. № 12, 1997, с. 155-157.

Томаш Шутковски: Паремийные единицы с ономастическим компонентом в современном русском и польском языках: Монография. – Щецин 2010. – ISBN 973-83-62355-28-0 (336 с.)

В системе антропоцентрической парадигмы лингвистических исследований именам собственным как единицам языка и речи принадлежит особое место. С одной стороны, языковая специфика имени собственного (ИС) стимулирует его полипарадигмальность как объекта географии, истории, культурологии, этнографии, социологии и других смежных наук. С другой, онимы небезосновательно становятся объектом изучения лингвистики, где представлены чрезвычайно многоаспектные исследования этой языковой универсалии. В. А. Никонов справедливо утверждал, что имя – это слово и, как все слова, подчиняется законам языка, то есть подлежит ведению языкознания. В то же время, несмотря на огромное количество работ по ономастике (упомянем в этой связи исследования А. А. Белецкого, А. В. Суперанской, В. А. Никонова, Ю. А. Карпенко, В. Д. Бондалетова, Д. И. Ермоловича, Е. Гродзиньского, Ц. Косыля, А. Зарембы и др.), языковой статус онима и сегодня точно не определен. Решению актуальных ономастических проблем, требующих надежного лингвистического анализа, посвящена монография молодого польского ученого Томаша Шутковского, в центре внимания которой – паремийные единицы с ономастическим компонентом в современном русском и польском языках, семантические свойства имени собственного и зависимость функциональной специфики онима как компонента паремии от характера его значения. Работа содержит семиотический, семасиологический, ономасиологический и культурологический анализ онимов как словесных знаков, выполненный в сопоставительном плане. Материалом исследования послужили паремийные единицы русского как восточнославянского и польского как западнославянского языков.

Т. Шутковский осуществил попытку, с одной стороны, уточнить сведения о специфике значения имен собственных различных типов, ведь ИС, ставшие предметом его изучения, нельзя отнести к единицам первичной номинации, – они тесно связаны и генетически, и семантически с именами нарицательными; с другой – проследить вхождение онима в состав паремии на уровне

ее компонента, изучить семантические параметры и семантическое развитие имени собственного в этом качестве.

Структура работы логична, продумана, взвешена. Надежно изучены теоретические предпосылки исследования, основные концепции имени собственного в современной лингвистике; четко представлен терминологический аппарат, рабочие определения ключевых понятий; ясно выражена авторская позиция. Особого внимания заслуживает положение об онимическом содержании имени собственного, под которым автор понимает совокупность знаний об именуемом онимом объекте реальной действительности, служащую правильной его идентификации членами данной языковой общности и актуализации этого содержания в речи. Четкая структура этого содержания с указанием иерархии ее компонентов (с точки зрения именно анализированных ИС) способствовала бы более полному анализу вхождения ИС в структуру и семантику изучаемых паремий. Эта своеобразная фоновая информация, концентрирующая знания представителей лингвокультурного сообщества об имени, и стала отправной точкой последующего анализа судьбы имени собственного в составе паремийных единиц (ПЕ) изучаемых языков. Четко определен в работе и лингвистический статус компонента паремии. Вывод о его словесном характере дает Т.Шутковскому возможность говорить о семантических преобразованиях онима в составе ПЕ и его влиянии на значение производной устойчивой единицы. Каждый раздел работы снабжен четкими и лаконичными выводами, обоснованность которых не вызывает возражений.

Категорически не соглашаясь с учеными, отказывающими ИС (независимо от его типа) в наличии значения, но признавая факт существенных различий между апеллятивными и проприальными единицами во многих лингвистических аспектах, автор работы пытается доказать, что они также обладают семантической структурой, хотя и иного рода. Функции идентификации и характеристики в анализируемых именах собственных тесно взаимодействуют. Этнокультурный и прагматический компоненты в ИС учеными признаются факультативными, второстепенными, исходя из реального разнообразия онимов; они действительно не всегда синхронически воспринимаются во всех без исключения именах собственных. Тем не менее в ИС-антропонимах, которые генетически ввиду своего отапеллятивного происхождения выражали характеристику носителя имени (пожелательные, охранные языческие имена с их первичной магической функцией; общеславянские «семантически прозрачные» имена композитного типа; имена греческого, латинского, еврейского происхождения с определенным этимологическим значением; прозвища (прозвания) как основа огромного количества фамилий), эта информация заложена в «генной памяти», в значительной степени определяет их дальнейшую судьбу и далеко не всегда оказывается неизвестной современным носителям языка. Именно поэтому в различных группах ИС статус компонентов их семантической структуры неоднороден. Здесь, по-видимому, обоснованнее было бы не только говорить о различной иерархии сигматического, структурного, сигнификативного, прагматического и этнокультурного компонента, но

и глубже изучить ее. Исследование ИС именно с такой точки зрения пошло бы в работу только на пользу. В этой связи стоило бы более подробно рассмотреть и вторичные типы значений (ассоциативное, историческое, социальное, стилистическое), их корреляцию с этнокультурным и прагматическим (коннотативным) значением и реальную актуализацию второстепенных функций ИС в составе ПЕ как своего рода культурном тексте.

Вопрос о том, как функционируют ИС в составе пословиц, цель использования которых мотивирована их прагматикой и (или) аксиологической характеристикой общественной ситуации, решается автором исследования путем поиска проблемных вопросов и поиска ответов на них. Сопоставляя две точки зрения на семантическую роль онимов в составе фразеологического образа (оним внутри идиомы приобретает признаки апеллятива (В. М. Мокиенко, О. Ф. Кудин); оним как асемантическая единица приобретает значение только в составе фразеологизма (Р. И. Охштат, Л. И. Степанова)), Т. Шутковский идет по пути анализа языкового материала, доказывая, что оним в составе фразеологизма приобретает «иной языковой облик», т.е. подвергается определенным семантическим трансформациям, теряя функцию идентификации; при этом ИС сохраняет часть «онимического содержания», определенным образом влияя на семантику ФЕ. Относительно пословиц автор не считает, что их компоненты-онимы взяты «народом наудачу»: анализируя функции ИС в контексте пословицы (обобщающая, категориальная, онимическая (фооновая), темпоральная) методом подстановки слов-идентификаторов, он приходит к выводу о специфике функционирования ИС в пословицах: в одних случаях ИС вносит в семантику пословицы только категориальное значение (личное имя = человек), становясь апеллятивом; в других, кроме категориального значения, – еще и определенную часть онимического содержания, актуализируя при этом этнокультурный компонент (сюда, видимо, следует отнести историческое, культурное, отчасти и социальное значение); в-третьих – актуализирует ассоциативное значение, чем преобразует антропную семантику ПЕ в темпоральную или прогностическую. В таких случаях, видимо, можно говорить об актуализации определенного фрагмента (фрагментов) онимического (непрагматического) содержания ИС как компонента паремии. Более детальные комментарии к приведенным в один ряд (порой нетождественным относительно специфики актуализации компонентов значения ИС) примеров были бы здесь вполне уместны.

Отдельную группу в работе представляют случаи актуализации прагматического значения онима как компонента ПЕ. Автор работы приходит к выводу, что коннотативно, в том числе и стилистически маркированные ИС очевидно влияют на мотивацию фразеологического значения паремии. Особое внимание уделено деминутивным и аугментативным формам имен собственных, хотя в ряде случаев такую функцию выполняют и ИС в исходной форме благодаря своему яркому коннотативному содержанию (ср. приведенные автором в Приложении примеры Нашему Ивану нигде нет талану; Ростом с Ивана, а умом с болвана; Пошли Ивана, за Иваном болвана, за болваном еще дурака,

так и сам иди туда! и др.). В этой связи утверждение, что только производным ИС свойственна прагматическая функция, представляется слишком категоричным.

Анализируя личные имена-компоненты ПЕ в культурологическом плане, Т. утковский основное внимание уделяет именам библейских персонажей и христианских святых, фамилиям, дигнитонимам, отчествам и прозвищам. К сожалению, практически вне поля зрения исследователя остались интереснейшие коннотативные ИС. В работе лишь упоминаются исследования и Словарь коннотативных собственных имен Е. С. Отина, но дальнейшего развития идеи этого ученого в монографии не нашли. В то же время коннотативные имена, содержащиеся в собранном Т. Шутковским материале, очень ярко проявляют себя в составе как ФЕ, так и паремий. Взять хотя бы примеры с ИС, содержащими «неприличную» букву Ф – Федул, Фалалей, Фома и под. Кроме того, социальный ореол многих ИС очевидно небезразличен для общего значения паремии. Анализ таких проявлений дал бы автору более полную картину влияния имени собственного на семантический потенциал ПЕ.

Надежно, доказательно и наглядно выполнена часть исследования, представляющая собой конфронтативный анализ паремийных единиц с антропонимическим компонентом в русском и польском языках. Определены принципы установления корпуса ПЕ, составивших материал анализа, представлены количественные характеристики паремийного материала сопоставляемых языков, предложена их структурно-семантическая классификация, сравнительная семантическая типология ИС-компонентов паремий, сравнительная формальная и генетическая характеристика онимов. Особое внимание уделено гендерному аспекту личных имен в статусе компонентов ПЕ, который изучался с позиций андроцентризма языка. Здесь автору следовало бы уточнить свое понимание термина «маскулинизм», который в современной лингвистике имеет крайне нечеткие границы. Подключение же именно языковых, а не популярных сегодня феминистски ориентированных аргументов в оценке качественного и количественного соотношения анализируемых единиц с мужскими и женскими ИС положительно характеризует взвешенную позицию автора в этом вопросе. Обобщены в работе также типы диалингвальных отношений ПЕ с антропонимическим компонентом в русском и польском языках в свете проблем транслатологии и межъязыковой эквивалентности. Более подробная типология межъязыковых соответствий и статистические данные были бы чрезвычайно ценны с точки зрения практической ценности этого подраздела. Выводы, сделанные автором монографического исследования, соответствуют поставленным целям и задачам, представляются достаточно аргументированными и научно достоверными.

Монография вне всякого сомнения способствует решению многих проблем изучения ПЕ с ономастическим компонентом. Ее характеризует хороший научный стиль изложения с большим количеством иллюстраций, обобщающих таблиц, схем, диаграмм, четкость и лаконичность мыслей, аргументированность выводов и обобщений. Практическая ценность собранного и системати-

zdrovaného materiálu nepochybně pro krajně nezbytného dnešního mnoho-
jazyčného slovníku frázologismů a příměrů s komponentou-onimom. Malé
omylky v slovoužití a ruské interpunkci neportají celkově příjem-
ného dojmu z recenzované práce. Oddělené poznámky a přání,
vyjádřené námi, – spíše perspektivy na budoucnost: ne náhodou autor
ukončuje svou knihu čínskou příslovcí Nejdelší cesta začíná
s prvního kroku.

Алла Архангельская, Чехия, Оломоуц

**Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Reklama – Jak dělat reklamu. Praha:
Grada Publishing, 2010, 208 s., ISBN 978-80-247-3492-7.**

V roce 2010 vyšla v pražském nakladatelství Grada Publishing kniha s názvem
„Reklama – Jak dělat reklamu“. Jejími autory jsou Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš,
významní odborníci z oblasti reklamy a marketingu. Oba spolupracovali na vydání
několika významných publikací, jako je například „Psychologie reklamy“ nebo
„Image a firemní identita“.

Knihu sestává ze šesti kapitol, příloh a bibliografického aparátu. První
kapitola pojednává o samotném pojmu „reklama“, o marketingové komunikaci a
o marketingových strategiích. Podle autorů knihy je reklama formou komunikace
s obchodním záměrem. Marketingovou komunikaci chápou jako komunikaci
s trhem, k její úspěšnosti jsou využívány následující nástroje: reklama, podpora
prodeje, práce s veřejností, sociální síť a sponzoring. Marketingovou strategii
klasifikují jako koncepci zaměřenou na uspokojování potřeb zákazníků a dosažení
pozitivních výsledků v konkurenčním boji.

Ve druhé kapitole Vysekalová a Mikeš detailně popisují přípravu reklamní
kampaně: stanovení cílů, kalkulace, volba médií a výběr cílové skupiny. Podle
našeho mínění je zdařilá zejména pasáž o volbě médií, která popisuje jejich výhody
i nevýhody a napomáhá tak efektivnímu oslovení cílové skupiny.

Třetí kapitola se zabývá problematikou vytvoření správné reklamy – upozorňuje
na důležitost výběru vhodných slov, hodnotí využití barev a obrázků v reklamě, klade
důraz na vytvoření kvalitního reklamního poselství. Vzhledem k tomu, že zásady
správné reklamy pokládáme za nejdůležitější a nejobtížnější, zaujala nás nejvíce
právě kapitola třetí, a budeme se jí proto věnovat podrobněji.

Autoři zdůrazňují psycholingvistický aspekt problematiky. Jazyk reklamy musí
být srozumitelný a musí být zaměřen na oslovení cílové skupiny. Délka vět a použitá
slova ovlivňují porozumění reklamnímu sdělení – autoři připomínají známý fakt,
že informace jsou nejsrozumitelnější v krátkých větách a s užitím zažitých výrazů.
Důraz kladou na cílovou skupinu, které musí být přizpůsoben informační obsah
a volba argumentů. Podle Jiřího Mikeše je důležité, aby reklama byla komunikací
orientovanou na prožitek a na emocionální stránky lidské osobnosti. Tvůrci

reklamních sdělení by měli vhodně vybírat i tón oslovení, protože rozdílné generace mají rozdílné slovníky.

Z provedené analýzy jazykového materiálu vyplývá například zjištění, že substantiva působí techničtěji, přesněji a důvěryhodněji než adjektiva. S využitím substantiv se v reklamě dosáhne rychlejšího zprostředkování informací. Zároveň však platí tvrzení, že by tvůrci reklamních textů měli používat i slovesný způsob vyjadřování, protože slovesa reklamní text ožíví. Podle Vysekalové a Mikeše jsou nejdůležitější ta slova, která v titulku vytvářejí společně s grafickým logem to, čemu se říká C. I. („corporate identity“ neboli „jednotný vizuální styl“).

Jako velmi přínosnou hodnotíme podkapitolu o vhodných názvech firem nebo reklamních sdělení. Vysekalová a Mikeš se domnívají, že mezi nejpůsobivější symboly patří „zvířata“, jako je „lev“ nebo „orel“. „Úspěšnými“ výrazy jsou slova jako „královský“ nebo „knížecí“. Praktický a lépe zapamatovatelný je takový název firmy, jenž se ztotožňuje s hlavním předmětem jejího podnikání: „Kleenex“ a „čistota“. Kratší názvy firem, jako například „Kraft“ a „Heinz“, jsou dynamičtější a údernější než názvy dlouhé. Vysekalová a Mikeš se jistě správně domnívají, že vhodné pojmenování firmy je pro corporate identity nejdůležitější.

Ve třetí kapitole se pojednává též o typech písma. Je důležité, aby písmo bylo čitelné a aby se snadno rozpoznaly asociace, které vzbuzuje. Autoři se domnívají, že by se v reklamě měla zvýrazňovat opravdu jen podstatná slova, a to v omezeném množství. V reklamě by se měl používat pouze jeden typ písma, protože více typů písma působí neuspořádaně.

Dále se autoři zabývají pojetím obrazů a barev. Výzkumné poznatky i zkušenosti dokazují fakt, že obraz je důležitým pomocníkem při zpracování informace. Obraz zůstane v paměti déle než slova, umožňuje emocionální přijetí nabízeného produktu, nabízí jasnou a „uchopitelnou“ informaci a vzbuzuje vnitřní aktivaci. Barvy zprostředkovávají vizuální poselství, umožňují snadnější vnímání a pochopení nabízeného sdělení. Zajímavá je analýza pojetí barev v různých státech. Například modrá barva je u nás, v USA nebo ve Švédsku spojena s maskulinitou, v Holandsku je to však dívčí barva. Význam barev je podle Vysekalové a Mikeše spojován s působením na konzumenta – modrá barva uklidňuje, červená barva vzbuzuje emoce. Barvy jsou důležité pro provedení výrobků, především v kontrastu. Nejsilnější kontrast mají barvy, které jsou v barevném spektru protikladné: černá – bílá, modrá – oranžová. Velmi pěkný je i přehled významu jednotlivých barev: černá barva se užívá pro sofistikované zboží vysoké kvality, zelená barva symbolizuje svěžest nebo klid, modrá barva se využívá pro vyjádření čistoty, žlutá barva znamená lesk a nádheru, šedá barva je spojena s pocitem strachu a stáří.

Pro reklamu je důležitá „efektivita reklamy“, o které se hovoří ve čtvrté kapitole knihy. Autoři poukazují zejména na pojmy „líbivost“, „porozumění“, „důvěryhodnost“ a „kreativita“. Bez těchto aspektů by reklama byla neefektivní, tím pádem zbytečná.

Pátá kapitola je věnována zadání reklamní kampaně odborníkům (reklamní agentuře). Autoři upozorňují na důležité kroky při výběru reklamní agentury a poukazují především na stanovení výsledku, který se od reklamní agentury očekává.

Velmi praktický je i průvodce výběrovým řízením, jenž radí potenciálním zadavatelům, na co by si při výběrovém řízení u reklamních agentur měli dát pozor.

V šesté kapitole se pojednává o nových trendech v marketingové komunikaci. Autoři se zamýšlejí nad tzv. event marketingem a principy stále silnějších zážitků, internetovou komunikací, gerilovým marketingem a jeho nekonvenčními postupy v reklamě nebo nad zásadami product placement, jenž se zabývá vhodným umístěním produktu.

Knihu oceňujeme zejména pro její praktické zaměření, a to nejen ve smyslu analýzy jazyka reklamy, ale také ve smyslu užitečných a ověřených rad, například při zadávání kampaně reklamní agentuře. Líbí se nám, že je teoretický aparát podán velmi pěknou a srozumitelnou formou, kterou pochopí i neoborníci. Podle našeho názoru má kniha šanci uspět u čtenářů i z důvodu jejího interdisciplinárního pojetí. Jednotlivé obory, jako je psychologie, komunikace, lingvistika, ekonomie, marketing nebo demografie, se nehodnotí izolovaně, ale jsou v knize propojeny a permanentně na sebe odkazují.

Vzhledem ke srozumitelnosti jazyka, různorodým a aktuálním tématům, kterými se publikace zabývá, ocení její vydání nejen studenti marketingu, ekonomie nebo reklamy, ale také všichni ostatní, kteří chtějí získat o reklamě všeobecný přehled. Kniha obohatí o nové poznatky a rady výrobce, pro které je reklama za účelem prodeje velmi důležitá, ale i zákazníci, kteří si uvědomí, jak se vlastně reklama „dělá“.

Stanislava Vojtíšková, Česká republika, Olomouc

Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je pokračováním ročenky *Rossica Olomucensia* vydávané olomouckými rusisty od r. 1968. Časopis je recenzovaným periodikem. Vychází dvakrát ročně. Od r. 2009 má i svoji elektronickou verzi (http://www.rusistika.upol.cz/RU_rossica_ce.html).

Uveřejňuje původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou. V tomto smyslu jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, což dokládají autoři svým prohlášením.

Obsah časopisu má následující strukturu: vědecké a odborné stati, recenze, zprávy a kronika.

Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením.

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce května a října příslušného roku.

Texty příspěvků zasílejte na adresu:

Rossica Olomucensia, katedra slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, CZ-771 85.

E-mail: l.voboril@centrum.cz

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo rtf (např. novak.rtf, vychodil.doc).

Struktura a úprava příspěvku:

Jméno autora bez titulů v pořadí – jméno, (jméno po otci), příjmení.

Stát a město, v němž autor příspěvku působí.

Název příspěvku.

Abstrakt v angličtině v rozsahu cca 400 až 600 znaků s mezerami. Uvádí se za slovem Abstract:

Klíčová slova v angličtině – cca 10 – 15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words:

Text příspěvku – základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahore, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat – formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, od-

stavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat (stránky vyznačit případně pouze na tištěný text ručně). Mezititulky neoddělovat mezerami.

Celý text a všechny další součásti se píše fontem Times New Roman, vel. 12 pt.

Maximální rozsah **18 000 znaků** včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktu, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použité a excerpované literatury).

Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Citace se uvádějí uvozovkami („Cituji“, «Цитирую», “Citation”), specifickými pro každý jazyk. Odkazy na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

Použitá literatura. Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v seznamu literatury:

Knihy, monografie, učebnice:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Článek v časopise:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera slavica XVI*, 2006, č. 4, s. 11–26.

Příspěvek ve sborníku:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou k publikování přijaty.

Text „Pokynů pro autory“ v ruském jazyce je uveřejněn na internetové stránce katedry slavistiky: www.rusistika.upol.cz v oddíle Rossica Olomucensia.

Těšíme se na Vaši spolupráci!